Александр Новосельцев

Бабаня

Продолжение. Начало в № 3 за 2017 год, № 1 за 2018 год

Рисунок Вадима Жукова

Заходил «на телевизор» и Тимофеич, устраивались у экрана всей компанией. Но, посмотрев с полчаса, теряли интерес, отвлекались насущными разговорами, отворачивались, а потом и вовсе выключали его.

— Чего мы так-то всё сидим? Давай, что ли, как бывалоча, песню заиграем.

— Ой, да что ты, — бабаня, кажется, застеснялась.

— Помнишь, как бывалоча, молодыми играли?

— Ой, упомнил!

— А ведь играли ж с тобой.

— Играли, — бабаня улыбалась, поправляла платок, поглаживала колени ладонями, похожими на кору дуба.

Тимофеич кашлянул, глотнул, «заиграл»:

В чужедальнюю сторонку
Провожала сына мать...

Бабаня едва слышно подтянула, не попала вначале — голос сорвался, потом потихоньку выправилась, задишканила:

На прощанье наказала
Честно-храбро воевать.

Голос Тимофеича чуть поднялся, чтобы ей удобней было петь, и они уже слаженно, не торопясь, подчиняясь друг другу и смыслу песни, стали выводить фразу за фразой:

Батька старый сына обнял:
— Ты служи, сынок родной.
Или храбро смерть ты примешь,
Иль воротишься герой.

Тут вступила бабаня, а Тимофеич подтягивал — понимали, что не песню поют, а жизнь рассказывают. Не свою ли?

Жена мужа провожала,
Выходила на крыльцо,
С бела пальчика сымала
Бирюзовое кольцо...

Витька лежал, прикрыв глаза, с удивлением понимая: а ведь это бабаня его поет, и голос это ее, но такой незнакомый. Негромкий, но чистый, ясный, совсем молодой.

— Муж мой милый, муж желанный,
Ты на память обо мне
Схорони колечко это
В чужой, дальней стороне.

А дальше было вот что: Витька, таившийся, что не спит, увидел, как Тимофеич положил свою ладонь на бабушкину, лежащую на коленях, и сначала у нее, а следом и у Тимофеича показались слезы. И оба они поведали ему:

Может быть, в чужой сторонке
Ты другую, чай, найдешь.
Лучше будет — позабудешь,
Хуже будет — вспомянешь.
За тебя буду молиться... —

пела бабаня, а слезы уже текли по подбородку...

Перед Богом день и ночь,
Чтобы беды и невзгоды
Он отвел от тебя прочь.

Они допели, но ладонь Тимофеича всё лежала на бабаниной, он чуть сжал ее, и еще одна слеза сбежала по ее щеке. Другой рукой она вытирала слезы.

Допели. Тимофеич вздохнул, распрямился, словно осмелел:

— Так бы и играли всю жизню, а? Коли б на действительную не ушел.

Бабаня молчала, едва приметная улыбка пряталась в морщинках.

— Да кабы не Федор твой... Как бы жили...Чего ж ты не дождалась?

— Выдали меня. Знаешь как, четыре девки да Ваня с Ромашкой, я старшая, нянькой. Отца-то забрали, припомнили, что был у белых. Коля — тот уже без отца родился. Всё кресты отцовы прятали — то в саду под яблоней, то на подловке. У нас тут, когда наши-то части шли на Сталинградский фронт, ночевал в хате взвод цельный. Как они тут спали — и не знаю, вповалку, кто где! А тут еще и мои на печке. Им-то, солдатикам, только б тепло было. Жались боком на полу — ступить негде! А тут как раз и побирушка как-то к нам зашел. Человек Божий, ну и его оставили ночевать. Наутро увидал, что кроме рыбы летошней у нас и дать-то ему нечего — ни хлеба, ни каши, посчитал моих шесть головушек детских на печи, вынает из сумы куски хлеба — возьми: «Видал я всякую нищету, а такой...»

А ты-то сам?

— Да что я? Кабы знал, что Федор твой не придет с фронта, рази б на ей женился?

Бабушка уголком платка вытирала глаза. А Тимофеич, не глядя на неё, но так и не отпуская её руки, говорил в сторону:

— Вишь, жизня какая наша... Вроде как долгая... У тебя Федор был, потом, как его убили, — Иван, у меня — моя. Пришел бы я раньше с фронта, так, может, был бы заместо Ивана? А?

Он поглядел на бабушку.

— Может, и был бы, — сказала бабаня безучастно. — Чего ж таперя?

— А где они все? Одни мы таперича.

— Одни, — кивала бабушка.

Когда прошло пять лет после извещения о без вести пропавшем Федоре, она приняла Ивана с четырьмя детьми. Кроме своих, довоенных — Василия и Шуры, появились у них после войны сын Федор и дочь Валентина, да Ивановых двое — мать их в голодный предвоенный год померла. Горькие были эти вдовьи годы. Тяжкие. Долгие.

Тимофеич ушел, а бабушка взялась прибирать со стола. Долго терла стакан, то останавливалась, то снова терла его и глядела на фотографии у зеркала. Подошла к одной, в рамке, сняла ее со стены. На нее глядела она же, только совсем молодая, год назад вышедшая замуж, в коротком черном зипуне — дейше. Рядом Федор, в сапогах, галифе и гимнастерке. Васи, первенца, рядом с ними нет — он тогда всё кричал, заходился в плаче, видать, болел. Фотограф, наскоро заехавший на хутор, ждать не стал, и

мальчонку оставили у свекрови. Потому такой тревожный взгляд у нее — все думы о Васе. Вот и нет его на фотографии, а всё ж он где-то рядом. Теперь-то, вишь, какой вырос, в секретарях обкома ходит. Да и младший, Шура, тоже тут, хоть и не приметен — вторым месяцем она им тогда ходила... Федор, как сообщили, пропал под Сталинградом в самые бои, в ноябре сорок второго. Вася с Шурой иногда только наезжают. Да Валька еще — материна забота. Гулящая, бестолковая, где-то сейчас в райцентре. У Васи всё хорошо и у деток его, а вот у Шуры... Не повезло с невесткой... И вот опять связался с другой: ни сама не едет показаться, ни сына его не разрешает привезти — видать, чужого ребенка ей не надо. Да уж ладно. Витька при ней — и слава Богу. Она обернулась, посмотрела на спящего внука. Жалко будить. Да и нехай спит, она и на диване ляжет... За окном громко, словно выхваливаясь друг перед дружкой, шумят сверчки, радио допевает последние песни перед полночным перерывом. Еще и Тимофеич — жених. Вишь, ходит, почти уж сватается. Вспомнив его слова, улыбнулась, совсем как в молодости, сняла косынку, всмотрелась в сумеречное зеркало, вздохнула.

— Жених, — она засмеялась, но осеклась. — Господи, греха-то сколько.

Перекрестилась на Николу, строго глядящего на нее из самодельного оклада из блестящей фольги от чая и бумажных веселых цветов. Лишь строгий его лик да рука, поднятая в благословении, выглядывали из-под них. Прошептала молитву, постелила и, погасив свет, легла. В темноте она долго считала: «С четырнадцатого... а сейчас шестьдесят пятый... выходит, мне пятьдесят один...» Вздохнула. В кухне стало тихо.

На ерике надсаживались лягушки, вспугнутые ударом сомовьего хвоста, да под яром, у кухни, до самого рассвета звенели в бурьяне кузнечики. В узкий проем окна, между занавесок было видно, как по черному небу медленно, безмолвно, едва приметно мерцая, летит рукотворная серебристо-голубая звездочка — спутник.

Ранними летними утрами на воротах базьёв развязывались обмахрившиеся завязки, гремели на них цепки и кольца, отворялись скрипучие воротины — коровы, видя собирающееся стадо, сами привычно шли с база. Хутор еще по холодку сбрасывал остатки сна: скрипели ворота, звякали цепи на колодезном вороте, где-то звонко шоркали оселком по косе. Поднимающийся над дубками солнечный желток, еще не войдя в силу, подсушивал росу на редком полынке, растущем на дороге между укатанными колеями.

Приходила пора бабаниной очереди пасти телят. Поначалу она ходила одна, потом стала брать Витьку, а года через два уже отпускала его одного, только наставляла:

— Ты мотри, по гривам не гони — там покосы. А то глянешь — там травка пожирнее — да и погонишь, а они ее потравят да потопчут. Нам тогда косить нечего будет.

— Где же тогда?

— А ты сверху гони, по дубкам. Так вот как через поляну перейдете, по дубкам вдоль гривы и гони, а в гриву не спускай. Сам чуть ниже, сбоку иди, бадик возьми, ежели чего, пуганёшь их. Ты станови их в дубках: тама и тенечек, не жарко. Они всё одно в жару тенек искать будут. Их там и овода, и слепни не так одолеют.

— А если они пить захотят?

— Так и ничего, по дорожке к ерику и подгони.

— Это к плотинке?

— Да хоть и к плотинке, а ежели у большой Плесы пасти будешь, так к Осину переезду подгони, там и мелко, и бережок с песочком, не топкий. Перебредете. А то, мотри, и у Шошлова сада напои, там старая дорога есть. Да телят к коровам не подпускай.

— Ба, а почему телят не пускать? Пусть бы каждый теленок к своей маме шел. Чего им нельзя-то?

— Жалечка ты мой, — бабушка погладила Витьку по голове. — Дак он ведь прилабунится к корове и всё высосет, они домой порожние придут. Ты вот лучше кизяков сухих насбирай, в теньке курышку от оводов разведи, они сами никуда не уйдут. Есть спички-то?

— Есть...

— Ну пошли, провожу.

— Да я сам, бабаня!

— Пойдем, пойдем, как стадо соберем, тогда уж и сам.

По дороге бабаня вспоминала:

— Батяня твой маленький был, меньше тебя, из дому, ежели не углядишь, и убежит. А Вася, тот постарше, я ему: «Бежи скореича за хутор, к большаку, он, видно, там, опеть дорогу нюхает».

— Зачем дорогу нюхать? — удивляется Витька.

— А там войска наши проходили на Сталинград. Машины шли, танки. До войны-то у нас машин ни одной не было, всё на лошадях ездили, а тут — машины, как без их воевать — то патроны, то солдат возить надо. От них бензином пахнет, вот батяня твой дорогу и нюхал. Нравилось ему, как бензин-то пахнет...

Братья при встрече, за столом непременно вспоминали разные истории. Жили в городе, а встречались чаще всего здесь, у матери, в родном доме. В городе всё суета какая-то, дела не отпускают. Дядька вспоминал:

— Мать, ты помнишь, когда прадеда-то хоронили, чего Шурка учудил! Он уж и сам не помнит, наверное. А, Шур? Помнишь про гроб-то?

Отец отмахивался:

— Да ладно тебе...

— Он, вишь, уже и не помнит, малый был. Дед умер, мне-то как раз семь лет было, я в школу пошел. Ну а Шурку-то куда девать! Пока дома я был, он при мне. А тебе ж, мам, в колхозе работать надо, не таскать же его с собой. А тут как раз и дед Саша умирает. Я как сейчас помню. Мам, ты помнишь: он же не в хате лежал, а в кухнешке! Уж дело-то к зиме. Он после октябрьских умер, да?

— На Казанскую. Это в ноябре, значит, четвёртого.

— Ну вот, я помню. Только почему он лежал в кухне-то, а не в избе?

— Да как же? У нас в хате вообще не развернуться было, нас там восемь человек вместе с моими братьями.

— А! Ну точно, они ж у нас тогда все жили...

— Да, и дядь Ваня, и Николай с Ромашкой. Васешка с Дусей отдельно — они уже замужем были. А тут гроб! Ну и поставили его в кухнешке.

— Во-во! А крышка от гроба — как сейчас помню — в углу стояла, вон там, за калиткой.

— Вась, а ты чего про школу-то взялся рассказывать?

— А, точно! Это я про то, что тебя, Шур, девать некуда, пока я в школе, а мать в колхозе. И дядья, хоть и не выросли еще, они ж тоже в колхозе работали.

— Ну конечно, тогда все работали в колхозе — и малый и старый, мужиков-то, считай, не было.

— Ага... И вот тогда Шурка стал со мной в школу ходить. Ему еще тогда... Сколько, Саш, тебе тогда было-то?

— Считай. В сорок пятом в школу мы пошли с тобой, как раз война кончилась. Мне пяти еще не было, четыре с половиной.

— И вот мы азбуку-то учим, на полях от газет писали еще. Помнишь, сажу из печки разводили в банке — вот такие чернила были. А ты хоть и не писал, но азбуку с нами осваивал.

— Ну а гроб-то чего? Чего ты про гроб-то начал говорить?

— Да погоди. Вот, значит, деда хоронить. На кладбище принесли, поставили у могилы, стали крышкой-то накрывать. А на ней прямо гвоздем, на всю крышку нацарапано: «ШУРА». Это, значит, когда она стояла у кухни, он на ней гвоздем нацарапал! Он же буквы уже знал, а, Шур, помнишь?

— Да ладно. Может, это и не я написал.

— Да как же не ты! У нас больше никого из Шурок и не было.

— А дед? Дед Саша.

— Да что ж, дед сам на своем же гробе «Шура» написал? Это ж ты тогда учудил, Сашка! Грамоте обучился!

Все засмеялись. А отец Витьки, стараясь быть серьезным, махнул рукой:

— А ну тебя, братка!

Витька сидел на скамейке, ногтем выковыривая из щели засохшую глину. Из-за хаты, чему-то смеясь, выбежали Валька — младшая бабанина дочь и Любка. Сели рядом. Любка — Витькина ровесница, и Валька в свои пятнадцать верховодит ею.

— Ага, вот и он! Слышь, Вить, ну Вить, прикрой глаза, — Валька, наклонившись, смотрела ему в лицо. Витька уже знал, что она скажет, и норовил уйти, но она хватала его за руку — не больно, но крепко. — Ну Вить, ну прикрой хоть разок, а?

Валька сильная, намного старше Витьки, от нее трудно вырваться. Витька дулся, раскрывая нарочно глаза как можно шире и, болтаясь на ее крепкой руке, сердился:

— Пусти. Да пусти ты!

Но Валька всё держала его, другой рукой за плечо поворачивала к себе:

— Жалко тебе, что ли? Ну, зажмурься. Только не сильно.

Глаза у Витьки устали быть открытыми, и он, моргнув несколько раз, прикрыл их.

— Во! Видала? Я ж тебе говорила: такие ресницы — да мальчишке достались. С ума сойти!

Витька вырвался и отбежал к кухне, показав им оттуда язык. Но они уже не смотрели в его сторону, говорили о каких-то своих делах, переходя на шёпот.

Витька вспомнил, что хотел делать лодку, и пошел в кухню за ножом. Потом он опять сидел на скамейке, строгал и думал, что ему хоть и не хотелось показывать свои ресницы, но почему-то было приятно. Вслух же сказал:

— Дуры.

После восьмилетки Валька подалась в город, куда-то в училище. Пропадала надолго, редко объявляясь на хуторе, который не любила. Изредка приезжала на два-три дня, и Витьке страсть как не нравилось, что она повторяла:

— Ой, да я ж тебя нянчила. Помнишь, Витьк? Ты помнишь, как орал за мной? Я на улицу к ребятам, а он орёт — прямо спасу нет!

Ей шёл уже двадцать третий год, и бабушка, отчаявшись, что дочь образумится, называла её беспутной. Какая там, в училище, была ей наука — неизвестно, но вот уж наука вольности, похоже, далась ей легко. Бабаня с кумой Маней иногда поминали ее.

— Подалась Валька в город, в училище. Так и училась бы, — говорила бабаня куме Мане. — А она только с путя сбилась. С тремя жила и ни с кем не уживалась. Уживись с ей — норовистая, ровно коза! А вот теперя еще с одним путается. То ли узбек, то ли таджик. Зовут Ахмет. Два раза уже сидел. И где она их находит? Такие к ней, как мухи на кизяк, сами липнут.

Приехав к бабане, Валька почти не бывала дома. Ночами ходила куда-то. Бабаня ждала её и, когда Валька просыпалась к полудню, не раз бралась совестить. Но с ней не было никакого сладу. Валька курила на качелях в саду, чтоб мать не видела. А тут еще студенты приехали на практику, жили в палатках над Воложкой, вот она к ним и затеялась ходить каждую ночь. Приходила утром, от нее кисло пахло вином. И уже не таясь, сидела на лавке перед домом, курила. Витька морщился от табачного дыма. Под глазами Вальки были темные круги, а вслед матери, старавшейся не глядеть в ее сторону, — неизменно тяжёлая ухмылка. Она затаптывала окурок и обращалась к Витьке:

— Сюда поди.

— Зачем? — дичился Витька.

— Да иди, дурачок, к тетке. — Она протягивала к нему руки, громко смеялась и повторяла опять одно и то же: — Знаешь, как я с тобой нянчилась!

Скрипнула дверь. Бабушка вышла с порожними ведрами:

— Валь. Ты бы воды принесла.

— Ага! Таскаться еще.

— Так ты чего с этим, Анваром, или как его, Ахметом? Чего тебе с ним не жилось?

— А ну его.

— Так, а тут кого ж ты найдешь? В городе-то, небось, женихов поболе?

— А чего я там, в городе, не видала? Навидалась уже во! — Валька проводила ребром ладони по горлу.

— Вот и поговори с ней... — вздыхала бабушка.

— Ну и всё. А то все учат.

— Ну а как же, Валь, и поучиться надо. Иди хоть работать.

— В гробу я видала и эту вашу работу!

— Господи! Ни учебы, ни работы. А жить-то как? У тебя ж еще цельная жизнь впереди.

— Ничего, проживу как-нибудь без этих ваших... Вари вон, а то жрать уже охота.

— Э-э, Валька. Так ты и ела, и жила бы там, откуда нынче пришла. Что ж тебя там-то не оставляли?

— Ой, куском, что ли, попрекаешь?

— Да кто тебя попрекает! Ешь-то ешь, да и дело знай.

— Всё. Пошла я.

— Далёко ли?

— Далёко. Отсюда не видать.

— Иди. Скатертью дорога.

Валька пошла с независимым видом, не закрыв калитку. Бабаня тяжко вздыхала. Витька, чтобы успокоить ее, подбежал, выхватил ведро.

— Бабань, я сбегаю за водой! — и побежал вниз, звонко скрипя дужкой.

— Полную только не неси! По половинке! — вдогонку крикнула бабаня.

Внизу, под громадной разлапистой рассошной ветлой, в сырой траве светлеют белесые венцы старого колодца-худука, внутри которого зеленится квадрат стоялой воды. Возле него — полусгнившая доска, чтобы было не топко, и примятая трава. По ней, заслышав топот сбегающих Витькиных ног, мелькнув черным телом с двумя яркими желтыми пятнышками, скользнул к ерику уж. Витька знает, что ужа бояться не надо, он даже держал маленького ужонка в руках. Но всё же страх, холодом пробежавший по спине, приостановил его на тропке. Витька проводил взглядом путь ужа, отмеченный вздрогнувшими травинками, осторожно подошел к колодцу. Здесь, в низине, вода стоит совсем близко к краю, зачерпнуть нетрудно. Он встал коленками на лежащую у края колодца сырую доску, хлопнул по воде ведром, гулко булькнувшим пузырями воздуха, с трудом вытащил его. Переваливаясь набок и расплескивая по ногам воду, потащил в гору полное ведро.

Второй день над хутором висела тяжелая, словно грязная набухшая тряпка, туча. И льет, и льет. Витька то сидит в хате, то пробежит под лапас, то и дело смотрит в окошко: не прояснеет ли? В печке из-под заслонки видно, как тихо тлеют угли, и чуть горьковато пахнет печеным, — пекутся кокурки. Бабаня тихо возится у стола, стирает с него мучную пыль. Смотрит, чуть принаклонившись к низенькому окошку, печалится:

— Ну, теперича обложной дождь, суток трое будет лить.

Витька берет с сундука старый журнал, садится на продавленный диван между цветными подушками, листает его. В нем всё давно смотрено-пересмотрено. Может, что-то и можно почитать, но это кажется Витьке слишком непонятным: его интересуют картинки и подписи под ними. Он тоже, как и бабаня, зевая, смотрит в окно. За завесой мелкого, нудного дождя — знакомый вид на старую разлапистую ветлу с молодой за ней порослью. За ними ерик — серый, рябой от дождя. Всё льет и льет. В такую погоду точно никто не приедет. Опять Витька с бабаней будут одни до следующих выходных. И то, если дождя не будет до пятницы. Ни на Воложку сходить, ни на Плесу. Сиди дома да гляди, как с крыши капает. В огороде в такую грязь у бабани дел нет. Прямо посреди двора, на мазиканных глиной полах, стоит большая — не обойти — лужа, вокруг осклизлые глинистые следы от бабушкиных галош, она зовёт их «ЧТЗ».

Шумит дуб. Он всегда шумит по-разному — под ветром или дождем. Сейчас шум его ровный, тяжелый. По потемневшей от дождя коре бегает большой черный муравей, забывший что-то и теперь торопящийся среди мокрых дорожек найти путь в свой муравейник. С крыши ровными тонкими струями льется вода, пробивая в глинистой поверхности двора дырочки;

капли, падая в них, разбрызгиваются на десятки малых капель. У стенки котуха мокнут дрова, наколотые отцом из старой высохшей дулины; Витька смотрит, как они, намокая, становятся всё красней.

В доме в дождь скучно. Газеты, которыми оклеен угол над Витькиным диваном, тоже все перечитаны, и многое помнится, хоть и непонятно: «решения съезда — в жизнь». Перед словом «съезда» почему-то ещё одно слово, написанное большими буквами, прочесть которые Витька не может, он таких букв еще не встречал, кроме двух больших «Х». Снаружи по оконному стеклу бегут струйки дождя. Сквозь них едва видны глинистый желтый двор, дуб, кухня и мокрая поляна, на которой в дрожащей траве пенятся лужи. Изнутри окно запотело, и Витька рисует по памяти на стекле слона и мотоцикл с двумя колесами. За всем этим, через рисунок, он видит бабаню. Она накинула большой, грубый, почти негнущийся плащ, вышла доить корову. Витька выбегает следом за ней, едва успев обуть калоши. Но бабаня не пускает его:

— Далёко ли собрался?

— Баушк, я с тобой.

— Сиди в хате, чего грязюку-то месить. Корова, и та пришла вся в грязе.

В закрытом целлофановом пакете за окошком бурчит радио: весело, радостно говорят о каком-то далеком мире, где нет дождя и светит солнце. И такими странными кажутся эти веселые голоса под хмурым, сырым небом. Витька опять подсел к окошку, протёр пальцем дырочку в запотевшем стекле, увидел, как бабушка зашла под навес за подойником, потом медленно, стараясь не осклизнуться на глинистом дворе, бурча на непогоду, прошла на баз. В серой пелене видно, как морщится вода в ерике и скучной, озябшей стеной стоят на другом его берегу деревья. Всё надоело. Витька оглядывается: чем бы заняться? Вспомнил про гармонь, стоящую в тумбочке. Полез, открыл черный чехол, пахнущий чем-то далёким, незнакомым, достал гармонь. На черных, блестящих ее боках с надписью «Шуя» светлеют кнопки. Витька садится, ставит гармонь на колени и, неудобно глядя на клавиши, начинает наугад нажимать кнопки. Никакой музыки не получалось, только отдельные звуки.

— Может, она сломалась?

Он сжал меха и решил: если не торопиться, а послушать, как какая кнопка звучит, то ведь может и музыка получиться. Ведь играл же на ней дядька! И стал вспоминать, что он играл на гармони.

За этим занятием его и застала бабаня. Он радостно крикнул ей из-за гармони, которая почти по нос закрывала его:

— Бабаня! Послушай! — и стал торопясь, сбивчиво нажимать кнопки, подпевая сам себе: «Барыня, барыня! Сударыня-барыня!»

Выходило сбивчиво, но похоже. Бабаня улыбалась, Витьку аж приподнимало от радости: «Научусь!»

И в дождь оказалось теперь сидеть в доме совсем не скучно.

Часть 3

Недолгим было деревенское Витькино счастье. После третьего класса отец забрал его в город. Учился Витька хорошо, но весь год ждал каникул, чтобы поехать к бабане. А уж лето! Летом — с первого до последнего дня — он жил у бабушки на хуторе…

Какими чудесными, славными были те деньки! Отец с дядей Васей, Витькиным крестным, еще загодя зимой договаривались, что летом возьмут отпуск вместе и побудут у матери — помогут поправить базья и крышу на хате, накосить травы корове. Ехали вместе на теплоходе, и в предвкушении встречи с родным хутором Витьке все казалось радостно-счастливым: и появившаяся за поворотом Сарпинского острова серебристая точка теплохода, идущего сверху, от Бекетовской пристани, и широкий его разворот перед причаливанием, и мягкий толчок о старые скаты дебаркадера, и шумная посадка. Отец с крестным как-то вольно, по-хозяйски стояли на верхней палубе, пили пиво, купленное в пароходном буфете, и чувствовалось, что все открывавшееся взору было для них своим, родным! Витьке тоже передавалось это чувство родственности с неведомыми волжскими просторами. А пока он смотрел и смотрел на сверкающие на солнце белые барашки волн, набегающих друг на дружку. Потом в сумерках была дорога до хутора — от влажного, солнечного простора Волги до сухого, теплого берега, которым они добирались к хуторским огням.

И были тогда ранние подъемы на рыбалку во влажных зябких сумерках. Полусонные, перекидывались они двумя-тремя словами, бродили, зевая, перед не успевшими еще с вечера остыть стенами хаты, собирая приготовленные рыбачьи снасти. Черви, заготовленные с вечера, лежали в брезентовой сумке, удочки стояли у дуба. Также молча брели к берегу. Монотонно турчала моторка-«казанка» на Воложке, настойчиво троился в дубках голос удода, которого на хуторе называли «тухляком». Витьке было непонятно, отчего эту красивую птицу с ярким оранжевым гребнем над головой, отороченным сверху черным крапом, называют таким неприятным словом. Пока однажды не взял его, подраненного, в руки…

На рассвете светлела река, ставили закидушки на судака, будоража мягкую, кажущуюся маслянистой, поверхность воды. Определялись с местами — кто где встанет. Отец с крёстным ходили по песчаной косе, разматывая леску, укладывая ее на песке кругами, чтобы не спуталась при забросе. Витька по колено в воде бродил с марлевым малёшником, выбраживал малька, быстрыми пепельными облачками метавшегося на мели, и складывал его в банку с водой. Мальки тревожно и суетно мелькали в банке, блестя серебряными бочками. Их потом нанизывали на крючки-десятку, и, поднявшись на песчаный уступ берега, со свистом размахивая

леской над головой, закидывали ее чуть выше по течению, чтобы быстряк отнес их прямо против сторожков. Нанизали Витькиного живца, закинули и чуть подтянули снасть, для верности проверив ее натяжку, прислушались, как гудит в леске волжская вода, и заодно — не клюнет ли сразу на рыбацкое счастье какой-нибудь шальной судачок.

Но это так, оттянуть время первой стопки, выпиваемой за рыбацкую удачу. А пока забрасываются, налаживаются снасти, стынет-охлаждается сунутая в мокрый песок бутылка. Погожими утрами, пока из-за тальников Саралёвского острова не взойдет солнце, мокрый, остывший за ночь песок почти леденит босые пятки — верный признак ясного дня. Но вот все налажено, расставлено, примечено — где живец, где сумки, и хорошо ли висят на гибких таловых сторожках лески — тут можно и пригубить. Отец с дядькой на расстеленном брезенте режут колбасу, хлеб, лук, достают из воды заветную бутылку.

— Ну чего, братка, давай, за удачу.

— Ловись она, и большая и маленькая!

Тарахтят за поворотом моторки; ласково, поблескивая на солнце, набегает на песчаный берег волна. Мужики выпивают, со смехом непременно вспоминая историю, как лет десять назад так же на рыбалке поставили бутылку в воду, а потом, сколько ни искали ее, так и не нашли. Витька жует бутерброд.

— Вот, племяш, запомни! Будешь, когда придет время, ездить по разным городам и странам, а вот это, — дядька, лежа на фуфайке, брошенной на песок, показывает рукой на Волгу и берега, — вот это на всю жизнь запомни. Потому как такой красоты ты нигде в мире не увидишь. Я прально говорю, братка?

— Эт точно.

— Ну, тогда наливай, что ли, еще по одной!

Выпив, раскрасневшись, дядька достает бинокль, смотрит в него — на остров, что напротив хутора, на передвигающиеся маленькие фигурки рыбаков, на протоки, на воду. И вдруг бинокль его замирает: он внимательно смотрит, тихо, удивленно матерится, передает бинокль отцу:

— Глянь-ка. Вон, чуть ближе того осокоря.

Отец смотрит, вскидывает брови:

— Точно! Давай лодку! Скорей!

— Шур! Ты бадик какой-нибудь прихвати… Да давай скорее, вон, от карши отломи!

Отец подбегает к карше, лежащей на берегу, виснет на ее суку, кряхтит:

— Чего-то никак. Сырой сук!

— Да ладно, брось! Лодку отцепляй! Веслом шарахнем!

Они отцепляют лодку, быстро запрыгивают в нее.

— От ведь, зараза! Как нарочно — не взял мотор! Ну ничего, он не уйдет. Давай, Витька, на весла! Греби! Табань правым!

Витька отгребает от берега:

— Куда грести-то?

— Давай, давай, скорей, вон туда! Твое дело — грести! Шибче, шибче давай!

Витька гребет изо всех сил.

— Ну чего?

— Плыве-е-т, — довольно сообщает дядька, отложив бинокль… — Давай, Витька, подналяжь! Наш будет!.. Мы с тобой, братка, ляжку закоптим, я в сенцах ее повешу. Там прохладно нынче, не испортится. Выйдем вечерком — она висит. Я прямо от нее ножом вот так срезаю то-оненький кусочек и с хлебом! Представляешь! То-оненький, не толще мизинца, — и на хлебушек. Витька, левым затабань чуток… Правым еще гребани! Вот так.

— Лучше на ржаной, — говорит отец, улыбаясь, представляя кусок копчёного мяса.

— Ну… Можно и на ржаной. Главное, чтоб не толстый, чтоб на свет был такой прозрачный. И горчички на него чуток.

— Дымком пахнет…

— Ага. Только лучше на осиновых опилках закоптить. Витька, левым гребани! Ага, обоими теперь! Давай-давай!

— Точно, у нас опилки есть. Я как раз осинку спилил у ерика. Осиновыми коптить — самое то!

— Давай, Витюня, подналяжь! Вот так. Догоняем. Считай, наш будет.

— Главное, смотри, сейчас, как подгребем, весло бери, только не веселкой его, а прямо ручкой, комлем по башке! А ты, Витюня, слышь, смотри, чтобы он не утонул, — сразу верёвкой аркань! Прям на рога! Тут дело секундное — ежели он захлебнется, то враз потонет, мы его тогда не возьмем. В нем, судя по рогам, центнера с два будет — и лодку утянет. А то — нет, Витька, ты лучше просто подтабань под него, а я сам петлю кину, и калмыцким узлом — тогда сто процентов он наш. Главное, слышь, не перекоптить окорок! Проследить надо — чтоб как раз было!

— Ну а как же — дело серьезное. Зато, понимаешь, висит он, окорок, в сенцах. Прохладный, не замороженный, а точь-в-точь как на октябрьские бывает. Сядем, я по стопке холодненькой, прямо из погреба, наливаю, потом отрезаю окорочка лосиного прям с ляжки — и мы с тобой… Куда ты, Витька! — матюкнулся дядька. — Левым, говорю, загребай!

— Да давай я сяду на корме, править буду, чтоб Витьку не отвлекать!

— Давай, — дядька перелезает к рундуку, достает веселко. — Потише, а то перевернемся не дай бог. Ага, вот так и правь. А ты, Витюня, теперь греби во всю силу! Тут, наверное, метров сто, не больше, осталось. Главное, чтоб он не ушел на остров! А то там мы его хрен возьмем. Так. Где у меня мой

цейсовский? — Дядька вскинул бинокль, долго, очень внимательно всматривался в ту сторону, где плыл лось. Витьке не было видно — он греб, сидя спиной, срывая на руках кожу до «музлей»: как же, лось, окорок!..

Но дядька вдруг опустил бинокль, посмотрел на бурунную волну, которую нагонял Витька, гребя против течения, махнул рукой:

— Ладно, Вить. Шабаш. Греби обратно.

Витька от неожиданности, войдя в ритм, гребнул еще пару раз:

— Чего?

— Греби обратно.

Витька отпустил весла, оглянулся. Шагах в ста выше по течению, разгребая волны быстряка, посреди Воложки торчала карша смытого с острова старого осокоря, и корни ее, лосиными рогами торчавшие над водой, бурунили стремнину. Витька бросил весла, первый раз в жизни, по-взрослому заматерился.

— Да ну вас! Сами гребите…

— О, видал, братка? Он уже и материться научился! Ничего, Витюня, не дергайся, садись да правым потихоньку подгребай — по течению легче. А мы тут пока по стопочке — и удочки смотаем. Да, братка?

— Наливай. Мы ее и так, без окорока, огурчиком соленым.

И оба засмеялись над собой же, представляя, как они «то-оненькими кусочками» уже почти ели окорок из лосиной ляжки.

Пароход подходил к хутору вечером. Еще в городе Витька не шел — летел к городской пристани, не обращая внимания на тяжесть сумок с гостинцами для бабани. Сданы экзамены в школе, в кармане лежит армейская повестка, в которой написано, что явиться ему надлежит на сборный пункт через две недели.

— Еще целых две недели! — радовался Витька. — Пусть с бритой рекрутской головой, зато в любимых местах.

Снова за бортом блеск волжской волны, вспененной пароходным носом, снова тянутся по правому борту голые глинистые яры, а по левому — заволжские пристани, вот и бакен у поворота в Воложку, и знакомый полосатый створ у хуторской пристани, моргающий в сумерках зеленым глазом…

Над дубами за хуторской поляной разливалась вечерняя заря, еще висел дым от уличных печек, завершавших вечернюю стряпню. Витька привычно откинул звякнувшую цепочку на калитке, позвал:

— Бабаня! — обнял кинувшуюся к нему из кухни бабушку. — Не ждала? На-ка, вот тебе гостинцы.

— Батюшки! Как же не ждала — ждала! Так тебя в армию разве не забрали?

— Нет, бабань. Был на сборном пункте, переночевал — отсрочку дали. «Покупатель» не приехал.

— Эт какой покупатель?

— Эт, бабань, так называют тех, кто из частей приезжает за новобранцами. Вот я и подумал: «Чего в городе-то сидеть? Тебя проведаю. Еще и с покосом, и с дровами помогу».

Бабаня обняла его, притянула голову, поцеловала в макушку.

— Как там отец-то?

— Да ничего, работает.

— Ну и слава Богу! А ты поживи еще чуток на воле. Позорюешь хоть.

Витька вышел к ерику. При свете лампочки, висевшей на столбе, под ветёлкой едва виднелся перевернутый старый кулаз со сгнившей на дне доской. Постоял, глядя на темневший осокорями противоположный берег, дохнул хуторского воздуха, радостно оглядел «родные палестины». Все тот же, только показавшийся теперь совсем маленьким двор, изба, глядящая на него двумя оконцами, тот же вековечный дуб у кухни, устремивший молодую листву в розовеющее вечернее небо, и мелькнувшая в свете окон бабаня, наскоро собиравшая на стол. Ото всего этого, такого родного, знакомого, сладко сжалось сердце.

Теперь уже спокойно, даже с удовольствием вспомнил он экзамены. Особенно по литературе. Сочинение написал на отлично, а вот устный… Попался ему какой-то билет с занудной темой о поэзии. Витька, как мог, выкручивался, что-то мямлил, спотыкаясь на каждом слове, выискивал в памяти дежурные фразы. Учительница Мария Ильинична уже тоскливо, со вздохом постукивала ручкой по столу. Вдруг сказала:

— Ладно, это, так сказать, теория. А может, ты что-то прочитаешь из стихов? Например, что тебе самому нравится?

Витька замер, потер лоб и вдруг неожиданно для себя спросил:

— А можно вне программы? Не из тех, что учили?

Мария Ильинична посмотрела на членов комиссии, пожала плечами:

— Ну что ж, давай!

Витька поднял глаза и сначала тихо, медленно, а потом всё увереннее стал читать:

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца, ни края —
Только синь сосет глаза.

Он заметил: лицо строгой Марии Ильиничны вдруг стало оттаивать, проявилась улыбка, которой он ни разу не видел. И уже с ожиданием, потеплевшими глазами она смотрела на него, будто спрашивала: дочитаешь,

не собьешься ли? Глядя на нее, такую неожиданно просветлевшую, он читал, как будто подходил к хутору, к бабаниной хате:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою!»

По литературе поставили ему пятёрку, причём сразу в аттестат, хотя это было не положено по результату одного экзамена — учитывались еще и оценки в течение года. Но Мария Ильинична твердо настояла на этом исключении, а комиссия не стала возражать. В памяти так и осталось лицо учительницы — радостное, почти восторженное.

Все эти «экзаменационные» воспоминания и шумный город окончательно растворились теперь в сумерках над хутором, за алевшим вечерним небом. Впереди у Витьки была неизвестная и оттого тревожная жизнь — армия.

От дома послышалось:

— Ви-ить! Ты далёко ли ушел-то? Иди вечерять.

Под лапасом уже горела лампочка. Витька пошел на свет по тропинке, что вела от ерика к дому. Сели ужинать картошками, макая их в постное масло, и сушеной таранью.

— Бабань! А полог цел?

— А ты что, в пологу ложиться собрался?

— Ага.

— А не замерзнешь? Ночи-то еще холодные.

— Да ничего, не замерзну.

— Он в кухнешке, в сундуке лежит. Прям сверху. Сейчас принесу.

— Ты сиди, я сам найду.

У помоста в саду, на котором ставили марлевый полог, Витька отметил, как вытянулись побеги яблони. Когда он, маленьким еще, с отцом ночевал в пологе (на хуторе говорили — в пологу), ветки были далеко. Теперь же одна дотянулась почти до помоста, а молодые побеги огрубели, сделались шершавыми, совсем взрослыми.

— Ножовкой, что ли, их спилить, — подумал Витька и уже пошел было в сарай за пилой, но, отойдя, оглянулся. Яблоня цвела. В сумерках, словно буруны за кормой парохода, пенились нежным цветом ее молодые ветви. Он махнул рукой: ничего, чуть пониже привяжу. Натянув марлевый полог, бережно привязав углы, нырнул под него.

Мир полога всегда хранит зыбкий и какой-то таинственный уют. Если смотреть снаружи, видны лишь его стенки, а что внутри — не рассмотришь, разве только если ночью засветится в нем фонарик или свеча. Днем видны изнутри сад и задняя стена дома с приставленной к ней лестницей к

чердачной дверке, огород, плетень и дубки за поляной, и все с наброшенным на них туманом марли. Доски помоста от солнца и дождей словно покрылись серой шершавой замшей. Витька попробовал покачать их: ничего, крепкие еще. Оглядел свое ночное пристанище. От кухни зашаталась тень и прошаркали шаги: бабушка несла постель. Витька выскочил ей навстречу.

— На-ка. И одеялку вот потеплее. Ночью-то свежо. Замерзнешь — в хату приходи. В голова вот куфайку положи.

— А ты где?

— Я на кухне лягу.

Он забрался в полог. Лежал и думал: «Господи! Сколько ждал этой минуточки! И вот она наступила, минута счастья… Долго оно будет длиться, это счастье, о котором мечтал всю зиму? Ночь, другую, третью… А потом? Неужто свыкнусь с ним и забуду, что это такое — быть здесь, на родном хуторе, повидать бабаню перед грядущей неизвестностью? Вот так забираться вечером в полог и спать, зорюя, пока не расцветет утро. Днем уже по-летнему жарко, можно читать здесь, в тени яблонь...» Он теперь словно бы остывал от города, от суетной жизни, от прошедших экзаменов. Осознавал, что потом, после армии он, наверное, увидит всё другим, и оттого наслаждаться и радоваться надо именно теперь. Ветер к вечеру стих. Тишина, безмолвие легли на займище…

Над хутором, медленно погрузившимся в майскую ночь, стояли туманы, сладко пахнущие яблоневым цветом. Чем-то знакомым, далеким веяло от этого запаха. Это сладко мучило его, и он постарался припомнить: да, так пахли духи, которые любила его мать. Он вдруг вспоминал и ее, и эти духи, и женский голос из репродуктора: «Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить…» Было в этом голосе столько ласки и томящей, обволакивающей тоски… Потом радио бубнило что-то низким голосом. Пробубнило, вслед за этим пропикали тонкие резкие сигналы — и все затихло. Витька просчитывал по привычке: «…четыре, пять, шесть…», еще с минуту вслушивался в тишину, наступившую после радио, и привычно отмечал:

— Всё, двенадцать. Теперь до утра.

Радио замолчало, а в наступившей тишине от ерика сразу стал слышен хор лягушек. Будто бы они только и ждали — вот придет полночь и наступит их черед. Но в тальнике над ериком затомился соловей, до того громко и отчетливо выражая свою радость, что дружный лягушачий хор словно бы пропал. За ним ладно отозвался другой. Соловей, что радовался в ночи с этой стороны, был молодой — он суетно, наскоро высвистывал коленца. С другого берега отзывался ему опытный — неспешно, душевно выводя каждое колено. Этот соловьиный дуэт вызывал у Витьки предчувствие чего-то, о чем он ещё не знал, не ведал. Томилось и сладко замирало его сердце. Он лежал

с открытыми глазами, глядя сквозь яблоневые ветки на затухающее небо. Над тонкой марлей полога, над его прозрачным небом, над свисающей сеткой молодой кроны стояла южная ночь, но небо еще догорало теплой зарей молодого лета. Сквозь туманную фату яблоневого цвета голубели звезды, такие же молодые, как и само лето.

Витька слушал соловья и заметил, как кукушка пронесла свое узкое, с девичьим силуэтом тело. Качнув верхнюю ветку, она села совсем рядом, прямо над пологом, и завела свою странную, ни на что не похожую, песню-плач. Казалось, он не просто слышит этот плач, эти печальные нисходящие терции, но чувствует само её дыхание. С криком кукушки медленно вливалась в его сердце необъяснимая грусть, а в носу начинало щипать. Вдруг жизнь пуста и напрасна, а эти недолгие дни с рыбалками и купанием — вообще ничтожны? Но сердце, словно зная и предчувствуя известные лишь ему предстоящие радости, то обмирало, то вдруг начинало колотиться в этих черемуховых облаках и соловьиных стонах.

Займище окутала ночь. Неожиданно, словно откуда-то сверху, спустилась на разогретую землю прохлада: сначала чуть приметная, ощущаемая щиколотками босых ног, но через какое-то время, когда после севшего за дубы солнца остался только зыбкий голубоватый свет, холодящая поясницу. От усталой, разморенной земли еще поднималось тепло, а к утру, к разливающемуся рассвету непременно должны были родиться желанные холодные росы.

Витька стоял в саду у полога, вслушиваясь в ночь. Ложиться не хотелось. Соловей словно устал от песен, грустнее стали его трели: уже без выдумки, короткие. Еще ночь-две — и он забудется, отвлечется от своего главного предназначенья, займется какими-то неведомыми делами, не требующими песен. Вот и небо… Что ему от этого неба, невольно притягивающего взор? К чему эта пепельно-зольная пыль Млечного Пути, этот перевернутый ковшик? И что ему во всех этих непостигнутых созвездиях, их именах, на что они ему? Они тоже безразлично смотрят на него. Им и само время безразлично, а ему… неведомо. О, это время! А чем оно могло измеряться тогда, когда ещё не придумали часы и минуты?

Как же непонятно всё меняется в этом мире — деревья то одеваются листьями, то сбрасывают их, а человек, являющийся на свет ничтожно беспомощным, вдруг непостижимым образом становится сильным, мощным и мудрым или, наоборот, подлым и гнусным. Это время меняет жизнь, истончает крепкую её нить, а жизнь влияет на само время. Неразрывные и беспрестанно враждующие понятия. Живя, постигаешь время, но вот у кого-то прекращается жизненное движение. Но время, что с ним? Оно вечно, оно продолжает жизнь других людей!

В ту предармейскую Витькину пору хутор был полон молодежи — еще жива была «улица», хороводилась в сумерках у старого клуба. Среди молодых хуторян, созревших, но еще не определившихся, выделялись братья Рязанцевы. Росли они «чистыми арбешниками», как называла их бабаня. По молодости издавна водилась у хуторских ребят ночная забава — «пошухарить». Ни один из хуторских мужиков, будучи парнем, не избежал этого поветрия. Залезть в чужой сад за яблоками или напугать до смерти старуху, вышедшую ночью «по нужде на баз», не считалось зазорным. Пугнут охнувшую от неожиданности бабку и кинутся врассыпную, а уже на поляне будут долго раскатисто ржать. Дальше этого уличного удальства дело обычно не шло.

Вечерами «улица» собиралась на похилившихся порожках старого клуба, уже который год запертого железным шкворнем и амбарным замком. Витька с хуторскими, что жили на Самохиной стороне, тоже ходил на «улицу». Спустя полчаса, как отзвенят на базах пустые подойники, после всех домашних дел, в летних, сизых от курыжек, сумерках слышались голоса — это парни Рязанцевы шли со своего края на улицу. У бабанина плетня их разговор останавливался, раздавался свист, и Витька уже знал — его ждут. Выходил из хаты в белой рубашке. Бабаня на кухне цедила через марлю молоко.

— Пошел?

— Пошел, ребята ждут.

— Ну, иди, — вдогонку говорила она ему. — Да мотри, не поздно.

— Ладно…

— И не деритеся там. А то лопинские придут, вечно задираются, да эти Рязанцевы дюже заполошные…

Витька подходил к компании. Издали у плетня белели рубахи и вспыхивали мелкие огоньки: они ждали, курили. Здоровались за руку, шли по теплой, не успевшей остыть, дороге. В низинках уже собиралась прохлада, и ее переходили, как вброд. С разных концов хутора в темноте мутно светлели платья — девчата тоже тянулись к клубу. Шли парами, возбужденно болтая, смеясь. На крыльце бренчала гитара, кто-то гнусаво пел об иволге и «девушке с распущенной косой», несколько человек не в лад подпевали. Обмахиваясь ветками от комаров, подходили девчата.

— Девки, где вы? — привычно оборвав повисшее в сумерках тоскливое настроение, крикнул Пашка Рязанцев.

— Тута, тута, — отозвалась самая бойкая.

— А моей Марфуты нету тута! — допел он.

— А где ж ты ее дел? — спросила все та же бойкая.

— А моя Марфута упала с парашюта.

Девчата грохнули разом.

— А ты, Паш, за ней следом?

— Не. У меня запасной парашют. Хошь, покажу, вон там, в таликах.

— Ага, щас! Марфуте своей покажи. Парашютист!

— Ух ты, Валюха, какая!

— Да какая есть. Дай-ка семечек лучше.

Пашка полез в карман.

— О, девчонки, гляньте, Пашка нынче добрый!

Сыпнул Валюхе.

— Да не жидись, девчонкам насыпь. А это кто ж с вами, чего-то не признаю в потемках. А, Витька! Ты что ли, Рыбонька?

Витьку еще в детстве, за то что он нырял в воду с яра «головкой», хуторские ребятишки прозвали Рыбкой.

— Ну я!

Валюха, смахнув с губ шелуху, провела рукой по рукаву и протянула ее Витьке:

— Ну, здравствуй, Рыбонька.

Витька пожал ее руку, она была прохладная и чуть влажная. Ему не нравилась придуманная ребятами кличка, хотя и обидного в ней ничего не было. Но Валюха назвала его не Рыбкой, а Рыбонькой. И он пока не знал, как к этому относиться.

— Давно приехал?

— Вчера.

— А… — Валюха хотела еще что-то спросить, но Пашка перебил её.

Долго, бестолково лузгали в потемках семечки, бренчали на гитаре, будто чего-то ждали. Иные расходились парами. Но вот со стороны Самохина замоталась знакомая тень — Федор. Подошел, поздоровался:

— Что, молодежь, гуляем? — Тронул Витьку за рукав: пошли!

— Куда?

— На кудыкину гору.

Витьке уже надоел пустой треп на порожках клуба, и он пошел следом за дядькой, смутно догадываясь: непутевый опять что-то затевает.

Федька остановился у плетневой кухни Чумачевых, прошептал:

— У Чумачихи в кухнешке бражка стоит, я видал.

— Так она ж там, наверное, спит?

— А мы счас проверим, — он перемахнул через плетень.

— Федь, а вдруг кобель!

— А вот ни гада ты не знаешь. Чумак вчерась новый мотор подвесной с города привез. Я видал, как он его пробовал-заводил, а потом в тот сарай, где у него сетки, заволок. Он от кухнешки туда и кобеля перевязал, чтоб мотор не сперли. Так что кобель за хатой и не услышит.

— А, мож, он его на ночь обратно перевязал?

Пока шептались, кобеля слышно не было.

— Да ну, будет он его туда-сюда вязать. Погоди, я сейчас проверю.

Федька пошарил в темноте, под руку попался комок ссохшейся грязи. Отошел к хате и кинул его подальше в кусты за сарай. У сарая звякнула цепь, сонно буркнул кобель. Поворчав, успокоился.

— Ну вот, слыхал? Я ж говорил — у сарая сидит. Пошли, он уж старый, глухой.

— Куда?

— Куда-куда… в кухнешку.

— А дверь? Ломать, что ли, будешь?

— Чего ломать? Она у них сроду не закрывалась. Там цепок только накинут и чобик торчит. Мы тихо.

Витька замер.

— Ты чего? А, в штаны?

— Сам ты «а-а».

— Тогда лезь.

Витька взялся за плетневый кол, перепрыгнул, тронул цепь на двери. Она чуть звякнула и обвисла. Замка, как и говорил Федька, не было. Бидон с бражкой источал такой явный кисло-сладкий запах, что найти его можно было бы и в кромешной тьме. Витька нащупал крышку на бидоне. Рядом, как и ожидали, стояла пустая трехлитровая банка. Витька опустил ее в бидон, она булькнула и стала жадно заглатывать вдруг словно ожившую бражку. Руки стали липкими.

Через несколько минут, отходя по темной улице от хаты Чумачихи, они едва сдерживались от смеха. Федька поднял камень покрупнее, кинул его и, смеясь, побежал. Витька — следом. Громко бухнул в стену сарая булыжник — залаял, загромыхал цепью кобель.

— Ага! Теперь хоть забрешись! — В руках у Федьки на бегу в трехлитровой банке плескалась бражка. Он, уже не таясь, хохотал в голос, и смех его отзывался эхом по дубкам: еще в кухне Федька зачерпнул из бидона две кружки и жадно выпил. Полкружки отдал Витьке. Бражка была сладкой, похожей на квас, и Витька тоже в несколько глотков допил ее. Пока выбежали за хутор, их разобрало, и оба, куражась, смеялись, а от банки и рук несло кисло-сладким теплым духом.

Витьке всё казалось просто: ищи теперь ветра в поле! Дорога под ногами кружилась, вместе с ней качалось звездное небо… Было легко и безразлично. Заорал:

— А жить без любви… Быть может, про-о-ста!..

— Эт ты, Витюня, в самую точку! Пошли до девок к клубу.

У клуба уже никого не было, все разошлись, далеко в улице, где-то в Тимофеичевом конце слышались, удаляясь, голоса: Петька с гитарой шел провожать зазнобу.

Они перевели дух. Федька сел на крыльцо, поставил рядом банку.

— Ну, давай по три глотка.

Витька поднял банку и, пока отсчитывал глотки, видел, как над Воложкой, в прибрежных осокорях поднималась луна — огромная, желтая. С каждым глотком она становилась всё мутнее…

Утром Витька проснулся с тяжелой, как камень, головой. Приподнял ее от подушки, его качнуло, и он снова упал на сбитую набок постель. Шея была мокрой, подушка тоже.

— Витюня! Зорюешь? Вставай! Не забыл, нынче наша очередь скотину пасть, — за пологом суетилась бабаня. — Иди, чайку горячего с пирожком хлебни да ступай.

Витька, с трудом поднявшись, путаясь в марлевой занавеси, выбрался из полога. Долго сидел, глядя тяжелыми, больными глазами на утренний свет, который казался темным, мутным. Едва дошел до бочки с водой, покрытой бурой, будто вспененной, тиной, двинул ее рукой в сторону, сунул лицо в воду. Все качалось, Витьку мутило, и стоило неимоверных усилий идти быстро, прямо.

Весь день прошел как в тяжелом сне. Тянулся он так долго, как ни один день его жизни. К полудню усилилась жара, и коровы, ища прохлады, норовили пойти домой, в тень крытых базков. Витьке приходилось через силу, выползая из тенька, как в бреду, на неверных ногах бежать и поворачивать их обратно, помня, как бабаня наставляла его не пускать коров на колхозное поле:

— Мотри, упустишь, потравят поле, греха не оберешься.

Коровы под его крики и угрозы с неохотой поворачивали назад. Дотанцовывая крутыми задами, подбегали к дубкам, становились в тень, втягивали шеи и издавали недовольный мык. Витька, ища у земли хоть немного прохлады, снова навзничь валился в траву под дубом. Лежал сначала с закрытыми глазами, потом поднимал веки — тяжелые, будто свинцовые грузила. Все в этом мире казалось перевернутым. На небе навстречу белым облакам медленно плыли громадные черные ветви дуба. А вместе с ними, придавленный к земле невероятной тяжестью тела, летел и кружился он сам. И ничего не хотелось ему — только бы в забытьи лишиться этой тупой гнетущей тяжести. Бессчетное количество раз отрывался он от земли и, увидев уходящих коров, путаясь в траве, снова и снова бежал и возвращал их. Медленно, но неуклонно двигалась вокруг дуба тень. Она кружилась, становилась все длиннее, и, когда солнце коснулось макушки дубков за поляной, стих ветер, а от хутора лениво потянулся дым с базов, стало ясно, что хозяйки ждут коров к вечерней дойке. Витька уже не удерживал стадо, побрел к хутору. Коровы потянулись за ним, долгим, дружным мыком предупреждая о своем возвращении. Каждая шла к своему базу.

Витька зашел в кухню, зачерпнул из ведра полный ковшик прохладной воды, медленно, с наслаждением выпил его до дна и ушел в полог. Успел лишь забраться в него, подоткнул под подстилку край и, не раздеваясь, упал на подушку. Побормотал несколько раз:

— Все, ни в жизнь больше…. Ни в жизнь.

Какое счастье, что не нужно никуда бежать. Запах теплой, нагретой за день постели успокоил его, и он провалился в сон.

— Витя! Витюня! Иди молочка попей с хлебцем, — услышал он уже где-то далеко, далеко… Ответить не было сил. За пологом стояли синие сумерки.

— Ты где есть-то? — Бабаня прошаркала к пологу, увидела, что Витька лежит, уткнувшись в подушку. — Спишь?.. Умаялся. Ну поспи, поспи. А то нынче опять завеешься на улицу до полночи. Ох, дело молодое.

По утрам он то блаженно зоревал в пологе, то, едва дождавшись рассвета, ходил на рыбалку на Плесу. Как-то после такой утренней рыбалки, когда Витька, неся на кукане низку краснопёрок, уже подходил к хутору, услыхал у хаты Лагунихи девичий смех. На крыльце мелькнуло платье. У Витьки дрогнуло сердце и перехватило дыхание: кто это, неужели Любка?

— О, да ты нынче хорошеньких пумал, — встретила Витьку бабаня, взяла у него кукан.

Он сидел на лавке перед хатой, незаметно посматривая в сторону Лагунихи, пока бабаня разбирала рыбу во дворе.

— Эта на жареху, эта на уху. Какая на жареху — я ее сейчас пожарю с картошкой. А ты возьми зембель, пойди к худуку травки нарви, она там посвежее, да прикрой рыбу в зембеле и в погреб спусти. А вечерком я с нее ухи сварю.

Витька рвал траву, относил рыбу в погреб и все смотрел в сторону Лагунихина двора. Молча повозился около бабани со снастями. Она дочистила рыбу, взялась жарить. Витька ждал: может, сама что скажет.

Не выдержал:

— Бабань, а к Лагунихе приехал кто? Я с рыбалки иду, слышу — голоса у них.

— Любка это, внучка. Утрешним пароходом приехала.

Сердце Витьки взволнованно застучало. Любка… Неужели та маленькая девчонка со сбитыми коленками, растрепанными волосами и эта смеявшаяся девушка, что мелькнула на Лагунихином крыльце, — и есть она?

— Семь лет ее не видел. Не узнаю, наверное.

— Так они ж уезжали с матерью. Она в Сибирь, что ли, завербовалась. Любка таперя вот приехала баушку проведать. С отцом.

Бабушка внимательно поглядела на Витьку, нервно постукивавшего пальцами по лавке, полезла в стол, достала из него бумажный пакетик.

— Ну-ка, сходи, дрожжей Лагунихе отнеси, она давче просила, пироги затевает. Я ей посулилась, да закрутилась.

— Ну давай. — Витька замялся. — А ты сама чего?

— А у меня вон рыба на сковородке подгорает. — Бабаня отломила кусочек дрожжей. — Сходи, отнеси. У ней ноги больныя, распухли, ей ходить чижало.

К калитке Лагунихи Витька подходил на ватных ногах. Дверь была раскрыта, на ней лишь висел полог от комаров, но Витька не стал входить, как обычно, а постучал в косяк.

— Бабаня, там кто-то стучится, — раздался из избы голос Любки.

— Да чего стучаться-то, там не заперто. — Марля откинулась. — А! Витюня! Ты чаво ж стучишься-то?

— Бабаня дрожжей передала.

— А! Спаси Христос, квашню поставлю на завтрашние пирожки. Слышь, Люб! По пирожкам-то баушкиным не соскучилася?

— Ой, еще как! — Из-за занавески выглянула она.

Что-то неуловимое от прежней Любки было в этой девушке — та же лёгкая картавинка, чуть вздернутый нос. Но боже мой! Как же изменилась та маленькая девочка, с которой они бегали в школу да пропадали на ерике! Теперь и глядеть-то на неё было непривычно страшно!

— Ой, Витя! Витька! — Любка, прильнув спиной к косяку, улыбаясь, разглядывала его. У него все внутри онемело. — Привет — сто лет!

— Привет, — кивнул Витька.

— Вот, видишь, как хорошо, что ты тоже здесь, а то я, как ни приеду, тебя всё нет. Заходи, чего стоишь.

— Да ладно… — замялся Витька. — Мне завтра утром рано коров пасти. Наша ж очередь.

— О, бабань! А вы так и пасете в очередь, как раньше? У вас же пастух вроде был в прошлом году?

— Вспомнила! Кадай-то было! Был, да сплыл. Приблудился тут какой-то, попас с месяц, да как только первые деньги в руки попали, пропал. Смылся. Вот пасем теперя опять, как бывалоча, в очередь.

— А мы ж с бабой Варей всегда пасли. У нас одна очередь.

— Так я Жорку и сбираю завтра с Витькой, коли добужусь. Его ведь не добудишься — ночь арбешничает с ребятами, а потом до обеда зорюет.

— Да ну его, Жорку! Где он?

— Да в кухне был, ежели не наладился уже на улицу.

Любка быстро сбежала по приступкам, задев Витьку бедром, крикнула:

— Жор, ты тут? — И так же быстро вернулась. — Спит! А ты его не буди. Я завтра пойду пасти! Возьмешь меня в подпаски, Вить?

И так просто, весело, легко глянула на Витьку. Он пожал плечом:

— Ну… возьму.

— Ну и все тогда! Все, бабанечка, а Жорка пусть себе спит! Ладно?

— Да как хочешь. Гляди, сама напросилася. Пойду тесто становить на пирожки.

— Ну, тогда до завтра?

— Угу…

Ночь Витька спал плохо. Сердце, сжавшись и замерев, вдруг начинало колотиться. То соловей затевал свою песню, то с ерика доносились какие-то тихие утробные звуки — таинственные, будто ведающие что-то, о чем Витька только мог догадываться.

— Завтра… Завтра… — стучало в висках.

Нудно, упорно зудит комар, подлетая к марле полога. Витьке не спится. Знает, что придавил двух комаров, залетевших внутрь, а те, что зудят, — они на воле, и в полог им не забраться. Он растянулся на старом, залатанном одеяле, сохранившем запах дневного солнца, дыма и еще чего-то домашнего, уютного, перемешанного с духом воли, чабреца и полыни. Медленно сходил жар, к сумеркам из займища потянуло прохладной волной, а с дубовых грив — кислым дубовым духом. В пологе прохладно, руки, прожаренные за день на воле, тоже пахли солнцем. Хорошо лежать не укрываясь, раскинуться и чувствовать всем горячим телом эту желанную прохладу. И слушать нескончаемый, монотонный стрекот кузнечиков, лягушек с ерика, а от соседей вдруг услышать знакомо скрипнувшую дверь и голос Лагунихи:

— Любка! Ты, коли в пологу ложишься, так получше марлю подоткни, не пускай комаря-то.

И ее чуть картавящий голосок, от которого его будто окатывало горячей волной:

— Ладно, я прикрою, бабань, прикрою.

Вслед за этим — тихий, вполголоса напев какой-то беззаботной песенки, слов которой было не разобрать. Минуту спустя из Лагунихина сада опять ее радостный смех; видно, и Любка от счастья желанной воли не могла сдержаться — она и в девчонках была смешливая… Любка… Люба…

Уснул он лишь когда небо едва приметно стало высветляться. И — не то снилась, не то грезилась Любка. Да даже будто и не она, а лишь улыбка — манящая, желанная. И был свет, и были в этом мягком свете оранжевые капли или брызги. В огромных каплях, медленно переливающихся в зыбкой, радужной оболочке, вроде плавает маленькая фигурка — живая, теплая, дразнящая своей наготой. Витькино сердце разрасталось, теснило дыхание. Оно, казалось, готово было разорваться… Но на исходе видения всё делось куда-то, и сначала возникло, а потом явно расслышалось лишь одно его имя, а за ним всплыло белесое марлевое небо полога и бабушкин голос:

— Витюня, вставай! Коров уже выводят.

Дрожь раннего пробуждения, утренняя прохлада и тормозок в вылинявшей бабушкиной косынке с бутылкой утрешнего молока, кокурками, двумя огурцами и сухими таранками, снятыми еще вчера с подловки.

Любка уже стояла на дороге в легком платье в голубой цветочек. Рядом с ней — Лагунихина корова Милка, отзывавшаяся на слышимый со всех сторон нетерпеливый коровий мык. Позевывая, махнула ему рукой:

— Витька! Ну что, пошли?

— Пойдем.

С базов выходили коровы, привычно тянулись в стадо.

Любка шла, помахивая сеткой с тормозком, здоровалась с бабами, выводившими коров.

— Вишь? Бабаня вчера пирожков напекла. Тут с творогом и с вареньем.

Навстречу стаду из-за дубков выкатывалось солнце — будто какое-то неведомое, новое!

Пока шли по дороге, Любка, сняв босоножки, стучала босыми пятками, и было видно, какое удовольствие ей это доставляло. Но когда свернули к дубкам и вышли на траву, она, ойкнув, обулась. За дубками у Плеса коровы остановились, а Любка с Витькой присели в тени под большим дубом у самой воды. Любка сразу развернула тормозок. Ели еще теплые Лагунихины пирожки. Она все время и во всем находила повод посмеяться. Откусывала пирожок:

— О! У меня с вареньем. А у тебя?

— С творогом.

— А ты какие больше любишь?

— Тоже с вареньем.

— А давай еще по пирожку?

Взяли еще по пирожку.

— А сейчас с чем?

— Опять с творогом.

— А у меня опять с вареньем, — смеялась Любка и вертела надкусанным пирожком, — повезло, повезло, а тебе не повезло! Моего хочешь? На, откуси.

Протягивала пирожок прямо к Витькиным губам. Он тянулся откусить, но она отдергивала руку и смеялась:

— Не поймал!

Смеясь, валилась в траву, закрывала глаза. Он наклонялся и откусывал от пирожка в ее руке.

— О-о, так нечестно! — И опять осторожно подносила пирожок к его губам. — Ну-ка, откуси. И молочком потом запей…

— Ам! — баловался Витька, и Любка от смеха снова падала в траву.

Неожиданно он наклонился к ней, поймал губами не пирожок, а ее смеющиеся губы. Сердце отчаянно подпрыгивало, а Любка казалась такой беззаботной. Она на секунду сделалась серьёзной, но тут же отложила тормозок с остатками пирожков, достала колоду карт. Стали играть в дурака, но и в этой игре ее все время что-то смешило.

— Ну Витька, — голос ее словно играл, по-детски, октавами, с напускной обидой. — Ну Вить-ка!

Со звуками этих октав его сердце взлетало и, остановившись у самого горла, вдруг падало вниз; казалось, не было в мире силы, что могла бы остановить его. Помнится, оно и на экзамене билось, но не так. Любка взяла бутылку молока и, закинув назад голову, стала пить прямо из горлышка. На её шее под тонкой кожей билась, вздрагивая, тонкая голубая жилка. Краешки ее губ улыбались, из-под них выбежала извилистая молочная струйка, стекла у самой пульсирующей жилки и, задержавшись, наполнила маленькую впадинку у основания шеи, сбежала за ворот платья.

Витька вдруг вскочил, бросил карты и, не чувствуя колкой стерни, побежал к воде.

— Вить, ты куда?

Прямо в одежде он бросился в речку. Теплая, пахучая, настоянная на разнотравье, вода приостановила отчаянный бег сердца… Не выныривая, он лежал под водой. Раскинув руки, ощущал, как сердце, стучавшее в висках, еще не утратив силы, стало биться медленнее, успокаиваясь, входило в свои берега. Почувствовав это, он вынырнул и облегченно, глубоко вздохнул полной грудью.

— Витька! — у воды стояла испуганная Любка. — Ты чего?

— Чего-чего? Жарко…

Он лег спиной на воду, прищурившись, смотрел в небо сквозь радужные огоньки, переливающиеся на его мокрых ресницах.

Взвизгнув, Любка тоже бросилась в воду. Мелькнуло ее гибкое тело, и выше зеленых остриев куги, выше выгоревших до белизны ветвей густых ветёлок, к жаркому небу взлетели искрящиеся солнечные брызги. Она вынырнула возле Витьки, смешно вытирая с лица, с сощуренных глаз и волос сбегающие извилистые струйки. Из воды у торчащего чакана на длинных черных ножках осторожно выбегали водомерки. Она дождалась, пока они подплывут поближе, брызнула на них.

— Вить, глянь, какие они шустрые!

Брызги перламутровым бисером прокатились по воде и растворились в ней. Водомерки опять засновали по воде.

— А вот я их потоплю!

— А я — тебя! — Она стала окатывать его шквалом брызг и смеялась, смеялась.

— Ну всё! — Увертываясь, он подходил ближе, ближе. В брызгах над ними вспыхивала радуга. Любка взвизгнула, когда он прижал её и неожиданно поцеловал в прохладные губы. Ему казалось, что Любка, дыша жаром горячего тела, сладко задыхается в объятиях, в его руки влилась вдруг та неведомая ему, неистовая, но нежная сила, которой никогда он не чувствовал в себе прежде. Мир вокруг них замер… Тихонько постанывая, она вдруг ахнула и счастливо заплакала, уткнувшись в его обмякшее плечо, теряющее силу, которую она, кажется, желала бы выдерживать всю жизнь. И от этого благодарного вздоха такая нежность обволокла Витьку, что у него навернулись слезы, он нежно стал гладить ее...

А кругом кипело, яро дышало свежестью и какой-то карамельной сладостью молодое лето. И трепетавшее в серебристой листве осокорей солнце, и запах теплого вяленого сена и сырой гривной травы, и дух теплой застоявшейся воды, и звонкая голубизна безоблачного неба — все это были приметы того великого счастья, о котором он не мог даже мечтать. Это мгновенное счастье он остро и блаженно ощущал всем своим существом. Словно все сны и мечты его воплотились сейчас — и в этом небе, и в блеске этой теплой воды, и даже в старческих морщинах коры дуба, от которого тоже веяло сухим летом и терпкой кислинкой перебродившего времени. Того самого, в котором настоялись времена и события лихих лет и счастливых дней их дедов и прадедов, столько переживших на этой земле…

— Люб-ка, — еле слышно, одними губами шептал он.

Глаза ее были закрыты, в ответ ему лишь дрогнули ресницы. Из-под ладони, закрывавшей глаза, по щеке скользнула слезинка и остановилась рядом с маленькой родинкой, будто прорвалось сквозь тонкую оболочку неведомое ей чувство. И он, еще не остыв от счастья, замер в страхе и сострадании. Не успел еще осознать этого, как вдруг она, оторвав ладони от глаз, с благодарным стоном обняла его, стиснула руками:

— Витя… Витенька… Витенька мой… — горячо зашептала она. — Ты же мой?

Он еще сильнее сжал ее. Она вдруг приподнялась, и перед ним вспыхнули счастливые глаза. У ее груди метался маленький муравей, но она не замечала его. Витька бережно ухватил его, осторожно поцеловал в ложбинку…

Днем Любка побежала на хутор за водой. Телята, пережидая жар и оводов, лежали, сгуртовавшись под дубками у разведенной дымной «курышки» из кизяков. Витька наладил прихваченную удочку и спустился к Плесу. Поплавок неподвижно стоял в омуте за старой каршой, а вокруг была такая тишина, что Витьке, замершему в ожидании поклёвки, вдруг показалось, будто он оглох. Не слышал даже собственного дыхания. Испугавшись, что действительно оглох, он шевельнул ногой осоку. Та отозвалась спасительным шорохом. Витька подумал, что никогда прежде не

мог даже представить, какой бывает настоящая тишина, от которой может звенеть в ушах.

Замелькало Любкино платье, запыхавшись, она подбежала под дубок, поставила бутылку с водой, кинулась к нему, занежилась, заласкалась. Горячая, нежная, родная. Хотелось сделать что-то такое, что не под силу было еще утром. И верилось: впереди целая жизнь, огромная, бесконечная, и всё в этой жизни ему по силам! Только бы рядом была она, Любка, его Люба.

— А хочешь, я сверну этот дуб?

Она смотрела на него счастливыми глазами и ничего не говорила, а только смеялась — так ново для нее, с такой неведомой прежде надеждой…

— Ух, я его сейчас! — он прыгнул на висящий над ним сук, забрался на него. — Ну что? Валить его?

Неожиданно легко и смело забирался он выше и выше, но не испытывал привычного страха. И был уже у самой макушки, откуда сквозь листья видел сидящую внизу Любку — смеющуюся, смеющуюся… Господи, как же хорошо! Вот Плёс, и старый сад деда Ивана, и желтеющий песчаным дном переезд, и колышущиеся травы на поляне. А это что? В воде виден стреловидный след щучьей охоты, а вот бурун от всплывшего сазана и стайка красноперок с зеленоватыми спинками. Дальше, за Плесом, за переездом — стена дубов и нырнувшая в скрытые осокориные гущи старая дорога на соседний хутор. Сколько лет ей, этой дороге? По ней уходили его прадеды на войну. И многие — чтобы больше не вернуться. Но это они, жители далекого прошлого, оставили на свете и его бабаню, и его отца, да и его самого. Не вернувшись домой, они не смогли увидеть своих детей и внуков. Зато дали ему жизнь, полную счастья — долгого и взаимного… С ней, с Любкой!

Спустившись ниже, к самому толстому и длинному суку, склонившемуся над водой, прошел по нему и стал раскачиваться:

— Люб! Тут столько неба! Хочешь, я полечу?

— Куда? Вверх тормашками? — Любка смеялась, но уже и беспокоилась. За него. У него же от этого за спиной вполне ощутимо резались крылья:

— Гляди-и-и!...

Он легко пробежал по суку, протянувшемуся над Плесом, дважды мягко качнулся и прыгнул вниз. И — полетел. Легко, бесстрашно. Успел услышать беспокойное:

— Вить-ка!

Через мгновение вода приняла его. И было так радостно и так мучительно сладостно! Выбравшись из воды, лежал он в тени дуба возле Любки, с восхищением и страхом глядевшей на него, гладившей его лоб с прилипшими волосами, и подбородок, и грудь. Он блаженствовал, закрыв глаза, улыбался, ощущая солнце сквозь прикрытые мокрые веки. Он снова

обнял ее, нашел её горячие губы. Они снова неистово проваливались в сладкую страсть, в которой не было никакого времени и никаких условностей… Вокруг сиял летний полдень, и ветер доносил от косы волжского затона сладкий запах цветущих трав, мешавшийся с запахом ее волос и горячего тела.

Солнце коснулось верхушки дубов, синие тени от них легли к другому берегу. Настала пора возвращаться. Всю дорогу, пока дубки скрывали их от поляны, они шли, держась за руки, сторожко оглядываясь, не идет ли кто из хуторских к Плесу. Когда показался хутор, он жарко обнял ее, шепнул:

— Как стемнеет, приходи сюда, к стожку.

Она кивнула. К хутору подошли по разные стороны стада…

В один из таких счастливых дней к бабане заглянул Федька, позвал Витьку в займище кошёлить сазанов в баклуже. Витька с радостью пошел с ним — за рыбалкой скорее придет долгожданный вечер. Воды в заросшей кугой и ряской баклуже даже посередине было чуть выше пояса. Шаг за шагом хлюпали они плетеными кошёлками без дна по сплошь затянутой ряской зеленой воде. Вдруг — быстрое, как торпеда, тело вынеслось из-под плеснувшей кошёлки. Путь его прошёлся по трепетнувшим на воде листам чилима. Еще шаг, еще, справа, слева, и — резкий тупой удар! Это сазан, спасаясь от кошёлки, бросился в сторону. Витька охнул и едва устоял — будто осклизлым топляком проволокло по ногам. Удержался, припав к кошёлке.

— Что, ушел? — крикнул дядька.

— Ушел! Да его разве закошёлишь, чертяку такого! Ногу чуть не сломал. Он и в кошёлку-то не влезет.

Все же они накрыли его, еще несколько раз уходившего из-под плетеного плена, взяли, прижав голову и часть тела кошёлкой в ил, — хвост не вошел, и пришлось опускать в воду мешок.

— Давай, ты кошёлку держи, а я мешок ему под башку подведу! — торопил он.

Витька придавил кошёлку. Дядька лёг в воду, едва не хлебая её, искал руками жабры.

— Ага, так-так, да где же она есть-то? Вот она, башка.

Он нащупал жабры, направил сазанью голову в горловину мешка.

— Теперь освободи чуток! Кошёлку приподыми, махалка у тебя в ногах, а этот край освободи. Ему деваться некуда — он в мешок сам пойдет!

Едва Витька приподнял кошёлку, сазан рванулся, ударил его хвостом по ногам и ухнул в мешок своим литым поросячьим телом так, что дядька нырнул с головой.

— Ага! — вынырнув и откашливаясь, радовался он. — От же подлюка, попался!

Крепко, до дрожи в руках сжимая свернутый край, протащили они мешок по воде, выволокли на берег.

— Давай подальше его, подальше на траву! А то он буянить начнет.

Вывалили сазана из мешка. Он лежал, широко размяв кугу своим серебряным тяжелым боком.

— От это кабанчик!

Сазан глядел в небо перламутровым глазом и округло, не переставая, двигал ртом, словно говорил что-то. Потом вспрыгивал, резко ударяя хвостом, и опять продолжал свой последний безмолвный рассказ.

Возбужденный дядька радостно ругался, пинал ногой кошёлку с развалившимся боком:

— Во! Видал? Все, хана кошёлке. Откошёлилась. Ну и хорош, пошли домой.

Откинул кошёлку в сторону, достал из штанов мятую пачку сигарет и спички. Они никак не зажигались. Наконец дядька сгрудил ладони, пыхнул изо рта кислым дымом.

— Видал, ажник руки трясутся, как стакан хряпнул. — Он вытянул дрожащие руки с дымящейся сигаретой. Затянулся еще пару раз, взялся за край мешка. — Берись за тот край, поперли.

У Витьки тоже дрожали и руки, и ноги. Он с какой-то особенной радостью ощущал эту дрожь. И сазан, и ночные тайные встречи с Любкой — все это было таким хмельным до бессилия, что и бражки не надо. Он теперь полностью отдавался и этому лету, и своим ощущениям, и такой удачной рыбалке, что уже и не знал: а есть ли предел этому счастью? Он просто жил этими летними днями. Жил жадно, целиком, всей своей молодой силой.

Долго, томительно, как никогда, тянулись теперь дымные от курыжек сумерки. Дождавшись темноты, он выбирался из полога, тайно в тени яблонь огородом пробирался до плетня, отодвигал пряслину, через которую завозили на огород навоз, и в счастливом ожидании шел к дубкам. За ними у края скошенной гривы, с замиранием сердца обходил стожок: пришла? Нет еще. Ухватил две охапки сена, бросил на землю, улегся на них, глядя на затухающее небо. От сена тянуло сухим летним полднем, сладко пахло чабрецом и донником. За черной сетью дубовых ветвей тихо, прозрачно дотлевали остатки зари, истаивая до холодного, как покровская вода, цвета. Весь окутанный и светом этой теплой зари, и звенящим со всех сторон, неумолчным треском кузнечиков, он ждал, осознавая, что вот так, наверное, бывает только в раю. Все выглядывал между дубками — не идёт ли? Но там виднелись лишь тусклые редкие огни хутора. И вдруг мелькнуло между стволами светлое. Показалось? Нет, опять, все ближе. Она! Набежала, как светлая тень, с придавленным смехом бросилась на сено. Он горячо зашептал:

— Чумная! Что в белом-то? Тебя ж в потемках от самого хутора видать.

— Ничего, я бабке сказала — в полог спать пошла.

— А если выйдет?

— Скажу, в займище бегала закат глянуть за дубками. Где ещё такую красоту увидишь!

Она взволнованно рассказывала что-то: как поливали огурцы, как бабка бурчала на нее, что под ноги не смотрит и все плети истоптала, а ей было смешно… А он уже не слушал ее, смеющуюся, такую желанную, и целуя, упал на сено, увлек за собой…

Они лежали в счастливой истоме под дубом на ухваченной от стожка охапке духмяного сена, глядя на то, как за стогом, за грядой дубов безмолвно томились звезды… Косо висел ковшик Медведицы, загадочно указывая изгибом звездной ручки какой-то дальний неведомый путь. Запах ее волос, перемешанный с ароматами свежего сена, тёплой речной воды, полыни и сладкого духа таинственных трав, прячущихся среди тальников на жарких песках волжских кос, сливался в единый аромат счастья.

Прошло две недели истомившей его радости. Кончилось всё внезапно, как и началось. Витька возвращался с рыбалки, на которой он, глядя на воду, совсем забывал о поплавке, сонно глядел на воду, вновь и вновь ощущая до мельчайшего прикосновения, до тихого полуслова-полушепота всю предыдущую ночь. Возвращался через дубовую гриву и в просвет между дубками увидел, как по поляне от края хутора пропылила машина. Дядя Вася, наверное, зачем-то приезжал? Но следов на пыльной дороге у дома не было. Нет, не он.

— Бабань! А что за машина с нашего края отъехала? Я думал, дядь Вася приезжал.

— Нет. Генка был, Лагунихин сын.

У Витьки екнуло сердце.

— Только что?

— Да, нынче был. Приехал утром, как ты ушел рыбачить. Шальной! Забежал, ругались шибко чего-то. Любка даже плакала. Чего он девку донимал — не знаю. Слыхала только, он ей приказал: «Сбирайся». Ну и увез.

Витька кинулся на поляну, не зная зачем, пробежал ее, остановился, добрёл до знакомого стожка за дубками, обессиленный, упал в сено, где еще вчера лежали они с Любкой. Все — и запах сена, и источаемое из него тепло, и треск кузнечиков — назойливо напоминало ему о столь внезапно оборвавшемся счастье. Все теперь казалось неважным и ненужным, даже сама его жизнь… И августовские ночи, безмолвные, черные, и дни, тихие, похожие один на другой, вызывали лишь тоску. Для Витьки кончалось лето. Последнее беззаботное.

Любку он больше не видел.

Часть 4

После армии Виктор решил поступать в пединститут. Времени на подготовку к экзаменам было мало, но все же на пару недель он вырвался к бабане, захватив, как всегда, гостинцы и, конечно, сумку с учебниками и конспектами. Томился предчувствием — а вдруг Люба тоже окажется на хуторе? Но, видно, ее держали дела. Витька осторожно выспрашивал бабаню о ней, но та ничего толком не знала: говорила, что за все время она не приезжала из своей Сибири, и бабка Лагуниха только раз обмолвилась, что «теперя она замужем, и у ей дитё малое — дочка». Две недели, пока Витька был у бабани, ныло его сердце после этого известия. Что ж, Сибирь большая — куда писать? Лагуниха год назад умерла, дом ее дочь тут же продала дачникам, и адрес Любы спросить было не у кого. Да теперь-то уж зачем, коли она замужем, бередить то, чего не вернуть. Медленно сходила с него эта боль желанного свидания с Любой. Смотрел в учебники, а в глазах все стояла она — руки с картами на подстилке под дубком, ее смех, молоко из бутылки, текущее по шее… Да иногда затомится в груди, как тогда в пологу под соловьиные песни…

Через две недели он уехал поступать. И закружила его студенческая жизнь: лекции, общежитие, стройотряды, друзья. Об этой студенческой жизни потом, спустя многие годы, он тоже вспоминал, когда, приезжая к бабане, сидел поздним вечером перед хатой, глядя на затухающее небо и слушая стрекот кузнечиков.

Как же ее звали? А? Да как же? Ах да, Марина! А лицо? И лицо ее он тоже забыл. Помнил только, что было оно красивое, какое-то очень правильное, гладкое и мягкое. Да еще, пожалуй, с выражением довольства. А его звали... Его звали Иван. Они оба тоже учились в пединституте и вместе пришли в сборный стройотряд, работавший на далекой колхозной стройке. Витька тоже оказался там, в сборном отряде. При всей симпатии к Ивану, с которым Виктор сдружился в первый же день, это естественное, как казалось, единство Ивана и Марины его немного смущало: может быть, потому что слишком явная красота её казалась недоступной никому.

К тому времени Виктор уже понял, что есть девушки, от одного вида которых может заболеть не только сердце, но и зубы: в них и влюбляются, но тайна недоступности остаётся. Тогда внутренний голос, знающий что-то большее, чем ты сам, предупреждает: она не про тебя. Но Марина и Иван всегда были вместе, между ними никогда не было видимых размолвок, хотя и восхищения, радости взглядов, которые обычно трудно спрятать влюблённым, тоже не было. Так, словно что-то обыденное. Несмотря на ревность, Витька не позволял себе ни открыто, ни тайно проявлять интерес к

Ма-
рине.

Правда, была и ещё одна причина, в которой он мог признаться лишь самому себе , — неразделенная любовь к однокурснице Светке. Часами он стоял под её окнами, боясь пропустить мелькнувшую тень. Она знала об этом и не отталкивала его, но и не проявляла ответного чувства. Так продолжалось три года. Наконец от рвавшей его душу Светки, как от боли, он и уехал в стройотряд. Старался убедить себя, что Светка не нужна ему. Но сердце, не спрашивая разрешения, теперь учащенно билось при виде Марины или даже при мысли о ней. В теплые сумерки он уходил на берег с гитарой. Играл печально, но громко, в тайной надежде, что она услышит. Сладко дурманил запах травы на остывающем песчаном берегу, донимали последние июньские соловьи, плакала гитара. Но никто не приходил на берег. Да и нужно ли было это ему?

Иногда вечерами, когда с сумерками приходила желанная прохлада, всем отрядом шли на берег. Жгли костер, отпугивающий надоедливых комаров, глядели на огонь, тихо разговаривали или рассказывали анекдоты, вспугивая лягушек взрывами смеха. Со временем Иван и Марина, прежде всегда сидевшие у костра рядом, стали отсаживаться друг от друга, а то и приходили порознь. Теперь, когда Виктор видел Марину одну, на него словно что-то находило: анекдоты он мог вдохновенно рассказывать часами. Она смеялась со всеми, не отводя глаз от костра.

Среди парней был студент из политеха Петя, которого в стройотряде прозвали Пентерем из-за данного им же наобум названия птицы, удобно угнездившегося в пяти пустых клеточках кроссворда. Маленькую Люду, светловолосую улыбчивую девушку, с которой тот дружил, тут же назвали Пентерихой, на что она отнюдь не обижалась. Пентерь с нетерпением дожидался своей очереди и начинал рассказывать анекдот. Делал он это как-то долго и монотонно, путаясь и помогая себе руками.

Однажды Марина, прервав его бесконечное повествование, сказала:

— Петя, постой. Ты как-то нудно рассказываешь. — Она обернулась к Виктору. — Вот у Вити так образно получается.

Она еще что-то такое сказала... Но Виктору было не до слов, он видел ее улыбающиеся глаза, словно спрашивающие: ведь правда же?

Через некоторое время, когда Иван стал заметно сторониться Марины, Виктор спросил:

— А ты что, не с Мариной больше?

Тот махнул рукой как-то безразлично:

— А-а! Ну ее...

Было видно, что между ними ничего не осталось. По какой причине — это было уже неважно. В поезде, возвращаясь из стройотряда, они долго разговаривали обо всем, словно боясь не наговориться, а потом словно

выговорились и замолчали. За окном проплывали знакомые пригородные пейзажи, но каждый уже думал о своем. Иван, вдруг как-то виновато взглянув Виктору в глаза, отвернулся:

— Знаешь, есть такой аукцион — Сотбис. Там продают уникальные вещи, и каждый ценитель хочет приобрести именно такую, одну-единственную в мире, какой больше ни у кого не будет. Но для этого деньги надо иметь. Страшные. Так и я: хочется купить, а денег нет. И жить придется, зная, что вещи этой, единственной в мире, у тебя никогда не будет. Зато есть лотерея: можешь выиграть очень дорогую вещь. Я как раз такую выиграл. Но она, как оказывается, совсем не нужна. — Он усмехнулся. — Вот так-то...

На вокзале они обнялись и разъехались. Лето закончилось.

Снова осень, снова институт. Светка по-прежнему морочила ему голову, и он решил: всё, надо бросать эту глупость. Набрать в грудь воздуху и выдохнуть. И набрать свежего!

С таким настроением он возвращался однажды домой из института, когда в вагоне метро вдруг почувствовал затылком чей-то взгляд. Обернулся. Увидел знакомые улыбающиеся глаза:

— Витя!

Он обрадовался. Марина! Кивнул ей. Она махнула рукой: иди сюда!

Он пробирался к ней, чувствуя, как глупая улыбка стягивает виски. А она глядела открыто, просто, словно они близко и сто лет знали друг друга.

— Здравствуй, Марина.

— Привет!

— Ты откуда?

— С лекций, домой.

Она неподдельно удивилась:

— Домой? А ты где живешь?

Оказалось, они жили недалеко друг от друга, буквально в одной остановке.

— Вот это да! Правда? Нет, правда? — глаза у нее были большие, серые.

Сзади и сбоку толкались, упирались. Виктор вышел на ее станции и пошел провожать. Все было неправдоподобно до удивления: и то, что они жили совсем рядом, и что ни разу не встретились раньше, и что шли теперь рядом и запросто болтали.

— А помнишь Пентеря с Пентерихой? — спрашивала она.

Смеялись. Но смех, некстати подумал Виктор, был какой-то нервный, неискренний… Что-то словно мешало ему почувствовать себя счастливым до конца, до беззаботности. Во дворе ее дома еще постояли, говоря о чём-то неважном. Она, покрутив пуговицу на его куртке, показала пальцем на третий этаж:

— Во-он там, видишь, балкон с серой дверью и два окна? Там я живу.

Виктор смотрел и на балкон, и на окна. И все казалось странным, загадочным за этими окнами. Но разгадка была возможна и даже близка: он почти ясно видел дверь, обитую дерматином ромбиками, тесную прихожую с вешалкой, ковер на стене. Ее родителей с неразличимыми пока лицами: папу в очках и тапочках — «это мой папа», маму в фартуке — «мамочка, а это Витя», и запах котлет из кухни, и телевизор в углу, и даже ее маленькую комнатку, и куклу с большим бантом на кровати. Полку с книгами по филологии и толстый корешок книги с названием под ее цвет «Красное и черное». И ее голос: «Витя, одень вот эти тапки!» Почему-то «одень»…

— Так что, пойдем, а? — она теребила его пуговицу, и он отвлекся от разгадки.

— Куда? В театр? Или кино? — Виктор ощущал себя летающим, словно воздушный змей, а она, как за ниточку, держала его пуговицу.

— Нет, Вить, лучше в театр. И лучше сегодня же. Возьмешь билеты, позвони. Дай руку.

— Зачем?

— Давай-давай...

Он дал ей руку, она написала на ладони номер телефона.

— Ну беги!

Она, приподнявшись на носках и обдав его каким-то сладким запахом, поцеловала в щеку и побежала к своим серым окнам, махнув ему у подъезда.

А он взмыл в небо, подчиняясь ветру. Тому, что отнес его сначала к кассам театра, оттуда к телефонной будке, где минут десять он слушал её голос.

Потом он уже в костюме, с развевающимся галстуком пролетел к цветочному ларьку и с огромной, самой красивой розой приземлился у ее подъезда за четверть часа до назначенного времени. Она вышла, спокойно, с каким-то удовольствием взяла розу, снова коснувшись губами его щеки, уверенно взяла его под руку, и в сгустившемся сладком облаке духов они пошли к театру.

Виктор не помнил, о чем они говорили по дороге и что было в театре. Помнил только руку, лежавшую на сгибе его руки, и выражение ее лица, глаза, с интересом глядевшие то на сцену, то на него, поворот головы и стакан лимонада в антракте, из которого она отпила два маленьких глотка, а остальное дала допить ему.

— Тебе понравилось? — спросила она.

— В общем-то... Н-да.

— А мне не очень. Игра какая-то неестественная. Нам надо будет почаще ходить в театр. Я думаю, раз в неделю — обязательно. И в спорткомплекс на каток взять абонементы, там уже залили искусственный лед...

Они уже стояли у ее подъезда. Она оглядела его внимательно. Остановила взгляд ниже подбородка, поправила галстук и еще раз оценила положение узла в треугольнике воротника. Потом подняла глаза:

— А все же странно, правда, мы с тобой целый год в метро ездили и друг друга не видели. Тебе в каком вагоне удобней ездить?

— В последнем.

— Теперь до кольцевой мы будем ездить вместе: ты завтра сядешь в семь тридцать во второй вагон — мне в нем удобней — а я к тебе подсяду. Ладушки? Не забудь: семь тридцать, второй.

Она говорила почти ласково, улыбаясь, но при этом не допуская возражений.

— Ну, пока?

— Пока.

И она опять поцеловала его в щеку, чуть задержав поцелуй.

Домой Виктор шел медленно, по-прежнему чувствуя ее неторопливый шаг, к которому надо было прилаживаться, и ее руку, неотвязно лежавшую на сгибе локтя. Встряхнувшись, пошел чуть быстрее, привычнее.

В темноте слишком громко тикали часы. Он никак не мог отвязаться от ощущения, что продолжает идти, подчиняясь темпу её медленных шагов, и звук их гулко отдаётся в голове, словно он идёт босиком по асфальту, твердо ступая пятками. Постепенно шаги становились ещё тише, он едва касался земли, стремясь лететь выше, но почувствовал, что что-то сдерживает его, не давая подняться. Это были две нити: когда он пригляделся, словно в бинокль, то увидел, что одну из них держит Светка, а другую...

Проснулся. Несколько минут лежал, тяжело дыша, вспоминая странный вчерашний день. На часах было четверть восьмого. Быстро одевшись и не позавтракав, выбежал на улицу. Потом вдруг, словно разозлившись, остановился, поправил воротник куртки и пошел не торопясь. Часы в метро показывали семь сорок пять. Из тоннеля выскочила электричка, остановилась. Двери проглотили очередную порцию спешащих людей и закрылись, а он все шел дальше по освободившейся платформе вдоль тронувшихся вагонов. Через минуту, снижая тон до баритона, выскочила другая электричка. Он вошел в последний вагон и, сев спиной к платформе, достал книгу.

Видел ли он Марину потом? Кажется, нет. А впрочем, видел один раз. Она шла по платформе с парнем, запомнившимся Виктору правильным и красивым лицом. Он держал ее под руку и, улыбаясь, делал вид, что внимательно слушает, как она что-то рассказывает, дирижируя рукой в тонкой коричневой перчатке.

Виктор прикрыл глаза: все это стояло перед ним, как наяву. Вздохнул глубоко, длинно, равнодушно… Всё осталось где-то там, в город-ской суете. От Волги, от ерика потянуло сыростью и прохладой. Он пошел в хату.

На последнем курсе он женился. Девушка показалась ему… Любой. Получилось так. Он торопился в институт, бежал, обгоняя переходивших перекресток к станции метро, и вдруг увидел девушку. Сердце дрогнуло, он неожиданно окликнул ее. Она обернулась — Витька остановился, разочарованный: не она. Но собственное воображение уже не отпускало его, и он пошел следом. У турникетов он потерял ее из виду. Стоит ли огорчаться? Но, войдя в вагон, вдруг опять увидел знакомый затылок, завиток на шее — как же похожа на Любку! Он даже закрыл глаза, чтобы вспомнить её облик до самых мельчайших подробностей. Она при улыбке… что же такое было при ее улыбке… Да, у нее чуть-чуть, мило кривились губы и показывались два зуба. От этой улыбки у него все внутри обмирало. А еще — родинка у губы. Господи, как он любил и эту родинку, и её детскую картавинку, и смех — всё, что было для него бесконечно дорого. Входили и выходили люди, лишь ее, «Любин» затылок с пушистой прядкой так и не менял положения: девушка, держась левой рукой за поручень, читала книгу, перелистывая страницы. А он все ждал — обернется или нет. Люди выходили, освобождая проход, и он с каждой остановкой пробирался ближе… Женился наскоро, боясь потерять в ней любимый образ. Но очень скоро понял: второй Любки нет.

В последний раз он ездил на хутор три года назад. Дом тогда не пустовал — еще была жива бабаня. Поездка была внезапной, по тревожной весточке. Глухие девяностые годы отлучили его от тех дел, которыми хотелось жить. Но нужно было ещё и как-то зарабатывать. Филология в те времена стала наукой совершенно невостребованной. Виктор неожиданно для себя нашел новую «стезю», причём в далеком от его интересов деле. Странно, но, оказалось, и так бывает.

Дела шли неплохо. И вдруг в одно утро явилась эта весть. Её принёс Сергей Вахменин, земляк и одноклассник Виктора, которого он успел принять на работу. Принял, но спустя полгода уволил «за употребление». Было утро. Он только что вошел в кабинет. Лены, секретаря, еще не было. И тут звонок.

— Это Виктор Александрович?

— Да-да! Слушаю.

— Вить… Это Серёга. Серёга это…

— Да понял я тебя, понял. Значит, так: обратно не возьму. Дружба дружбой, но пить на работе… Я тебя предупреждал.

— Да я не пил. Выпимши был только пару раз.

— Все.

— Погоди. Ты ж только пришел.

— Ну…

— Наверное, про бабу Варю не знаешь?

— Про бабу Варю?.. Что с ней… Говори!

— Сеструха моя вчера вечером с хутора приехала. Говорит, баба Варя погорела.

— Дом сгорел? А она? Что с ней-то!

— Да с бабой Варей ничего, все в порядке. Телевизор, говорит, у нее загорелся, ну и дом, вещи какие-то. Народ сбежался. Вроде потушили.

— А она где, не в больнице?

— Дом сгорел. А она вроде в кухне живет. Моя мать звала ее к нам, но она не пошла. Говорит: «Хоть на пепелище, а дома…» И никому не велела говорить. За тебя переживает… Вить, ты это… возьми меня обратно, а? Я завязал… Вить!..

Виктор положил трубку. Надевая куртку, вышел в приемную. Секретарь уже была на месте.

— Вот деньги и паспорт. Отправь Валеру. На сегодня, на ближайший самолет… завезешь ко мне. — И уже в дверях: — На послезавтра все отмени.

— А на вторник?

Виктор посмотрел на часы, подумал:

— Постараюсь вернуться… Нет, давай на пять дней. Придет Зыков — пусть пока покомандует.

Самолет прилетел ночью. На пристань Виктор не поехал: был ноябрь, и навигация должна была закрыться, да и «Ракета» вниз, до хутора, ходила лишь вечером, а ждать — только терять время. У аэропорта стояли с десяток такси, но за город ехать не соглашался никто. Наконец один окликнул:

— Эй, слышь, парень! Только в оба конца.

— Согласен.

За полчаса проскочили пустые улицы города, сонно моргавшие на перекрестках желтыми светофорами, полетели по степной дороге. Над глухой темнотой, со стороны райцентра небо отделялось от земли узкой полосой зарева. В полусонных домишках уже желтели окна. Таксист остановился у автостанции. Виктор расплатился, помедлив, попросил:

— Слушай, ты не уезжай пока. Мало ли что.

Таксист помялся:

— Как знаешь, пока покурю.

Было еще по-осеннему темно: небо не торопилось высветляться, его затягивали холодные тучи, и лишь на востоке, над займищем узко желтела полоса рассвета. От этой тонкой, болезненной желтизны было зябко. На автостанции стояли человек пять. Виктор заглянул в окошко кассы:

— Мне до Лопина.

— О! До Лопина уже второй год автобус не ходит, там мост в прошлом году в полую воду снесло, только до Каршевитого.

От Каршевитого до дома нужно шагать семь километров. Но вариантов не было.

— Давайте.

— Билеты только с семи буду продавать, когда автобус придёт. А может и не прийти, вчера его вообще не было.

— Почему?

— Да кто его знает: может, поломался, или водитель заболел. Народ почти уж туда не ездит, сейчас у всех машины свои.

Виктор вернулся к машине. Таксист опустил стекло:

— Ну что?

Стоял в растерянности:

— Неизвестно. Еще семь лет назад четыре «Ракеты» по Волге ходили, и автобус два раза в день.

— Ну ты вспомнил — семь лет! Они уж года три как не ходят. Пристаней-то нет, их все поснимали. А то под базы отдыха за копейки поскупили.

— А может, подкинешь? Хоть до Каршевитого? Не пешком же сорок километров идти? По цене договоримся.

Таксист почесал небритую щёку, махнул рукой:

— Ладно, садись. Я в те края на рыбалку как-то ездил. Километров с тридцать там асфальт, а дальше и не знаю, есть ли там дорога проезжая. Если колея пойдет — извини, братишка, машину бить не буду.

Они покатили по дороге. Той самой, что столько раз снилась Виктору. Чем ближе она подходила к хутору, тем чаще билось сердце при виде знакомых примет. Дорога петляла под колесами, взлетая на частых мосточках через ерики. Навстречу в ранних сумерках летели ветлы, осокори. Вот один знакомый поворот, другой, а вот и сверток с асфальта. На грунтовку. Таксист медленно съехал с высокой насыпи, остановился. Рассвело, и видно было, что дальше шла глинистая, разбитая вдрызг колея.

— Ну вот, как я и говорил. Куда теперь? Был бы у меня трактор, довез бы.

— А по обочине? У тебя же передний привод.

— Да тут хоть оба привода! Нет, братишка, залетим — не вылезем. Глина! Аллес… — Водила сочувственно глядел на Виктора. — Что?.. Пойдешь? Или обратно поедем? Уплочено.

Виктор вынул сумки с заднего сиденья.

— Пойду.

Машина рванула с места, оставив синее облачко с запахом бензина, последней приметой города.

Сумки, стучавшие по ногам, нести было неудобно. Но вдруг он остановился и даже засмеялся: вспомнил бабанин способ, простой и удобный. Он связал ручки, приладил их и по старинке, как перемётную суму, перекинул через плечо. Ходьба разгорячила его, и он легко зашагал навстречу поднимающемуся солнцу. Виктор вспомнил рассказ бабани, что когда-то вот так за сорок верст в Пришиб, который теперь переименовали в

Ленинск, ходили в церковь. Обыденкой, за один день! Сорок верст туда, сорок — обратно. Как говорила бабаня: «ночию выходили, а другой ночию, под утро уже дома были». А уж ему-то теперь, здоровому мужику! И сам удивился впервые услышанному от себя и о себе слову «мужик». Надо же, видать, в родных местах по-другому и не скажешь. Так говорили и в давние времена его предки. Называли друг друга этим ответственным, мужественным и даже бесстрашным словом. И вот теперь идет он, мужик, родными дорогами. Теми же, что ходили его прадеды.

Места пошли знакомые: вот сюда как-то ездили на рыбалку, дальше, на бугорке у ерика, вечно вытоптанном до глины овцами, стояли кошары. Теперь от кошар остались только обломки стен да кое-где, обозначая края базьёв, торчали из бурьяна, поднявшегося на унавоженной скотиной земле, колья загородок.

Ночью подморозило, дорога была непроезжей. Глубокие колеи, и в них лужи, подернутые льдом. Судя по следам, сегодня здесь еще никто не ехал. Видно, что ездят в такую пору не по дороге, а петляя сбоку, ища проезжих мест. Виктор выбрал ритм, пошел по траве, чуть в стороне от дороги. В дубках, показавшихся впереди, за широкой поляной и зеленевшей по окраинам музгой, появилось в алом ореоле и словно запуталось в черных ветвях раннее радостное солнце.

Все ближе хутор, все выше солнце. Виктор, убаюканный ритмом пешего хода, изредка меняя плечо под переметные сумы, шагал ходко, вспоминая время своей жизни здесь, на родине предков. И под эту монотонную ходьбу думалось, как много уже довелось пережить ему: армия, институт и работа на кафедре филологии, а потом ещё и резкий поворот к другой, неведомой деятельности. Но эти заброшенные края по-прежнему тянут его и так же дороги, как были дороги многим поколениям его родственников. Сколько их было? Он вдруг подумал, что почти ничего не знает о них: у бабани да и у ближней родни в своё время он почему-то мало расспрашивал. И сейчас жалел об этом. Несмотря на тревожность этой внезапной поездки, он уже радовался: ничего, бабаня, слава богу, жива. Да и с родными будет возможность повидаться. Радовался и всему этому приветливому простору, открывающемуся с каждым поворотом дороги.

Фантазия позволяла ему представить лучшие времена запустевших ныне пригорков, он почти воочию видел эти хутора прежними, многолюдными, веселыми. На праздниках и вечеринках колготилась тогда на майдане молодежь, собиравшаяся на звуки гармошки и балалайки. Майдан помнил те дни, когда сходились хуторяне провожать молодежь в армию или на войну. Тревога льнула к сердцу призывника, крепче сжимал он руку взволнованной подруги, которую, кто знает, может, в последний раз проводил в тот вечер к ее калитке. Садились рядышком на перевернутый

старый кулаз и молчали до рассвета, слушая тихие вздохи волн. И поутру нестройной колонной уходили парни и мужики в далекие от родных мест края. Много лет пелись здесь песни, сотни частушек звучали в кругу, и слагались они за века в одну большую песню: озорно или печально, пелись они о главном — службе Отечеству, любви к нему.

Очень редко собиралась теперь родня: одни состарились, другие разошлись по городам, третьи — по погостам. Виктор шёл дорогой к родному хутору и, кажется, видел на ней следы дедов и прадедов. Вспомнились их частушки, которые когда-то записывал даже. Эх, кажется, слышит Виктор голос молодого деда Ивана:

— Давай, братка, нашу «Допризывную»!

Пароход «Апостол Павел»,
Поскорей отчаливай!
Я — мальчишка-допризывник,
Сердце не расстраивай.

Кинулся в круг, пузыря рубаху, гулко и пыльно прошелся каблуками.

.

Собирай постельку, мама,
Крепко связывай ремнем.
А я выйду за калитку:
Ты прощай, родимый дом!

— Иди, Настя, в круг! — вытянул за руку свою зазнобу. Подалась, не противясь, поправила платок на плечах. Ждала!.. Стукнула каблучком:

Отходили мои ножки
По высокому бугру.
Отвыкай, мое сердечко,
От того, кого люблю.

Присел Иван возле дружка Алексея, подмигнул:

Проводи меня, товарищ,
На Царицынский вокзал.
Я за это уваженье
Тебе милую отдам.

— Сыпь, братка, чаще, — кричит заводила гармонисту.

Скоро, скоро поезд тронет

И колеса застучат.
До свиданья, милый Ваня, —
Мне в окошко постучат.
Вы прощайте-прощевайте,
Города уездные…

Круг ширится. Наморщив лоб, трогая непривычную стриженую голову над оттопыренными ушами, призывник с соседнего хутора продолжает:

Привели меня к приему,
А я думал: «Пиво пить».
Мои русы кудерюшки
Начали на мене брить.
Бреют, бреют, бреют нас,
Молоденьких, в первый раз.
Бреют, бреют — не стригут,
А стригут — не берегут!

А милая, тутошняя, с Самохиных хуторов, вот она стоит, стесняется, уголочки платка крутит. Для нее он поет-рассказывает о службе:

Скоро, скоро нас поженят
И казенных жен дадут.
Дадут женку черноброву:
Чрез плечо винтовку нову,
Гимнастерку да шинельку
И погонят воевать.
Выйдет маменька родная,
Станет слезы проливать.
Ты не плачь, не плачь, родная,
Я на фронте не один:
Старшина мне — мать родная,
Отец — ротный командир.

Служба впереди, и кто его знает, придется ли вместе служить друзьям-погодкам, которые съели не один десяток арбузов на соседских бахчах:

Вспомни, вздумай, ты, товарищ,
Как с тобой мы ладили:
Девки спали на лапасе,
А мы с тобой к ним лазили.

Смеются девки в сторонке, поправляют растрепавшиеся в кругу волосы. Устали, раскраснелись плясуны, затихла гармошка. Редеет круг: расходятся в

разные стороны пары. Отойдя от майдана, стоят у плетней, сидят на перевернутых лодках, прячутся в лунной тени дубов. Умолкают, прислушиваясь к тихому бренчанию балалайки. Мелодия все та же, только стала она печальней:

Воевали мы три года
На войне с Германией:
Подо мной коня убило,
Меня сильно ранило.
Где германский черный лес,
Там стоит дубовый крест.
А под этим под крестом
Спит товарищ вечным сном.
Никто его не разбудит,
Никто к нему не придет,
Только маменька родная
По нем горьки слезы льет.

Да, так, наверное, и было… И так же под утро холодало, тянуло с Волги сырым духом, и туман спускался в дубовые гривы. И в зябкую утреннюю дымку нестройно, горбясь, уходили по этой дороге, разбитой следами тележных колес, хуторяне к родной пристани, чтобы отдать жизнь за Отечество или спустя пять лет вернуться в разоренные войной хутора. И опять сидели под старым дубом со счастливыми матерями, а их братья, сыновья и племянники снова горланили на все займище:

Пароход «Заря коммуны»,
Поскорей причаливай!
Ты встречай меня, маманя,
Сердце не расстраивай.

Проходили годы, менялись власти, но все так же, как и век назад, опять пойдет провожать стриженый парнишка свою зазнобу, разворачивая меха гармони. И будут петь они на два голоса:

Глуховские хуторочки,
Где ж вы поселенные?
Кругом небо, да вода,
Да талы зеленые!

Было бы только кому петь да играть на гармони.

Что же сохранила память Виктора из того главного, большого, дорогого? Из ранних детских лет помнил он (смутно, как в тягучем полусне) самые

первые приезды к бабушке на хутор. Большая городская пристань и пароходы, которые тогда казались большими, белыми. На воду медленно опускались сумерки, а пароход все плыл и плыл, следуя указке бакенов, загадочно мерцавших в ночи своими красными глазами. Под их убаюкивающее мерцание Витька уснул и проснулся лишь тогда, когда отец, неся его на руках в темноте по знакомой тропке, споткнулся, зацепившись за корень ветлы и, едва не уронив Витьку, тихо ругнулся… Потом Витька снова за-дремал, убаюканный мерным шагом отца и темнотой, наполненной сухим дребезжанием сверчков. Очнулся уже на скрипучей кровати в бабаниной кухне, когда желтый луч лампочки упал ему прямо на лицо:

— Пап, мы уже пришли?

— Пришли, пришли, внучек, — обернулась к нему бабаня, которую он смутно припомнил по фотографии и другой, давней поездке сюда, на хутор. Правда, тогда ничего, кроме ишака деда Ивана, тазика с варениками да еще огромных арбузов, лежащих на голом поле бахчи, он помнить не мог. Но в уголках памяти таилось еще что-то более раннее, сохранившееся лишь обрывками кадров. Вот будто бы сидит он на тележке, и перед ним хвост лошади, а рядом — отец и дед Иван. Они громко говорят, но смысла их разговора он не понимает. Навсегда осталось в памяти счастливое, никогда прежде не испытанное ощущение счастья, когда он проснулся утром в хате у бабани от щипавшего его нос яркого, тёплого солнечного луча.

Всё тогда, в те ранние дни было пропитано радостным чувством. Лишь теперь, вспоминая то детское ощущение, он догадывался, что отец будто бы винился перед ним за что-то. Однажды он ушел вечером, а утром, когда бабаня позвала их завтракать, полез в погреб и достал из него кастрюльку, молча поставил перед Витькой. Тот открыл крышку и увидел вафельный стаканчик с растекшимся по дну мороженым — погреб в жаркой степи не сберег подарка. За ним отец ходил на пристань за шесть километров, чтобы, дождавшись ночного парохода, купить в буфете это мороженое и принести сыну. Витька, поначалу огорчившись тем, что оно растаяло, всё-таки с удовольствием съел сладкую жижицу. Отец же был рад не меньше, чем он.

Вспоминались и самостоятельные Витькины поездки на хутор, и то, как тоскливо было уезжать после скоро промелькнувших каникул. Помнилось все до каждой минутки, до последнего запаха. Во времена Витькиного детства на хутор ходил пароход «Гайдаровец». Его палубы и утробы «пассажирских салонов» заполняли небритые рыбаки в огромных брезентовых плащах, с неизменными удочками и сачками, и бабки, везущие к весеннему городскому базару брыкающиеся и хрюкающие мешки с поросятами, накрытые тряпками зембеля с цыплятами и завернутыми в бумагу яйцами. Осенью холодная ночная палуба была завалена

разрубленными говяжьими и свиными тушами — тоже к Сарептскому базару.

Позади вместе с прошедшим беззаботным летом оставались низовые заволжские хутора, купания, рыбалки и добрые бабушкины руки. А впереди ждали осень, суетный город и школа. Их разделяла эта ночь на пароходе — с гулом полуоткрытого машинного отделения, запахом солярки, качающимися огнями проплывающих бакенов да далекими огнями рыбацких костров на низких песчаных берегах.

(Окончание следует)